

Фридрих Ницше

Ессе Номо, как становятся самим собой

Ницше датировал появление книги промежутком от 15 октября (днём своего рождения) до 4 ноября 1888 г., однако работа над текстом продолжалась в течение всего уже столь короткого срока отведённой ему сознательной жизни - последний отрывок, принадлежащий к "Ессе Номо", датирован 2 января, т.е. днём, предшествующим катастрофе. О приведении в порядок всего материала, разумеется, не могло быть и речи; этим занялся Архив в лице Э. Фёрстер-Ницше, сестры писателя, и П. Гаста.

Рукопись увидела свет в 1908 г. Спустя 53 года, в 1961 году, Э. Ф. Подаху путём тщательной работы в Архиве Ницше удалось восстановить полный текст в хронологической последовательности отрывков. Результаты оказались самыми неожиданными: выяснилось, что самой книги просто не существует и что речь идёт о серии многочисленных вариантов и параллелей, так и не дождавшихся последней авторской правки и композиции. Тем не менее, значимость этой публикации и относительная цельность традиционного издания позволяет всё-таки включить это сочинение в раздел книг Ницше, хотя и на самой грани, за которой начинается раздел чернового наследия.

Произведение публикуется по изданию: Фридрих Ницше, сочинения в 2-х томах, том 2, издательство "Мысль", Москва 1990.

Перевод - Ю. М. Антоновского.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1

В предвидении, что не далёк тот день, когда я должен буду подвергнуть человечество испытанию более тяжкому, чем все те, каким оно подвергалось когда-либо, я считаю необходимым сказать, кто я. Знать это в сущности не так трудно, ибо я не раз "свидетельствовал о себе". Но несоответствие между величию моей задачи и ничтожеством моих современников проявилось в том, что меня не слышали и даже не видели. Я живу на свой собственный кредит, и, быть может, то, что я живу, - один предрассудок?.. Мне достаточно только поговорить с каким-нибудь "культурным" человеком, проводшим лето в Верхнем Энгадине, чтобы убедиться, что я не живу... При этих условиях возникает обязанность, против которой в сущности возмущается моя обычная сдержанность и ещё больше гордость моих инстинктов, именно обязанность сказать: Выслушайте меня! ибо я такой-то и такой-то. Прежде всего не смешивайте меня с другими!

2

Я, например, вовсе не пугало, не моральное чудовище, - я даже натура, противоположная той породе людей, которую до сих пор почитали как добродетельную. Между нами, как мне кажется, именно это составляет предмет моей гордости. Я ученик философа Диониса, я предпочёл бы скорее быть сатиром, чем святым. Но прочтите-ка это сочинение. Быть может, оно не имеет другого смысла, как объяснить названную противоположность в более светлой и доброжелательной форме. "Улучшить" человечество - было бы последним, что я мог бы обещать. Я не создаю новых идолов; пусть научатся у древних, во что

обходятся глиняные ноги. Моё ремесло скорее - низвергать идолов - так называю я "идеалы". В той мере, в какой выдумали мир идеальный, отняли у реальности её ценность, её смысл, её истинность... "Мир истинный" и "мир кажущийся" - по-немецки: мир изолганный и реальность... Ложь идеала была до сих пор проклятием, тяготевшим над реальностью, само человечество, проникаясь этой ложью, извращалось вплоть до глубочайших своих инстинктов, до обоготворения ценностей, обратных тем, которые обеспечивали бы развитие, будущность, высшее право на будущее.

3

- Тот, кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, здоровый воздух. Надо быть созданным для него, иначе рискуешь простудиться. Лёд вблизи, чудовищное одиночество - но как безмятежно покоятся все вещи в свете дня! как легко дышится! сколь многое чувствуешь ниже себя! - Философия, как я её до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что было до сих пор гонимого моралью. Долгий опыт, приобретённый мною в этом странствовании по запретному, научил меня смотреть иначе, чем могло быть желательно, на причины, заставлявшие до сих пор морализировать и создавать идеалы. Мне открылась скрытая история философов, психология их великих имён. - Та степень истины, какую только дух переносит, та степень истины, до которой только и дерзает дух, - вот что всё больше и больше становилось для меня настоящим мерилom ценности. Заблуждение (вера в идеал) не есть слепота, заблуждение есть трусость... Всякое завоевание, всякий шаг вперёд в познании вытекает из мужества, из строгости к себе, из чистоплотности в отношении себя... Я не отвергаю идеалов, я только надеваю в их присутствии перчатки... Nitimur in vetitum: этим знаменем некогда победит моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина.

4

- Среди моих сочинений мой Заратустра занимает особое место. Им сделал я человечеству величайший дар из всех сделанных ему до сих пор. Эта книга с голосом, звучащим над тысячелетиями, есть не только самая высокая книга, которая когда-либо существовала, настоящая книга горного воздуха - самый факт человек лежит в чудовищной дали ниже её - она также книга самая глубокая, рождённая из самых сокровенных недр истины, неисчерпаемый колодец, откуда всякое погружившееся ведро возвращается на поверхность полным золота и доброты. Здесь говорит не "пророк", не какой-нибудь из тех ужасных гермафродитов болезни и воли к власти, которые зовутся основателями религий. Надо прежде всего правильно вслушаться в голос, исходящий из этих уст, в этот халкионический тон, чтобы не ошибиться в значении его мудрости. "Самые тихие слова - те, что приносят бурю. Мысли, приходящие как голубь, управляют миром". -

Плоды падают со смоковниц, они сочны и сладки; и, пока они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои; теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо! Осень вокруг нас, и чистое небо, и время после полудня. -

Здесь говорит не фанатик, здесь не "проповедуют", здесь не требуют

веры: из бесконечной полноты света и глубины счастья падает капля за каплей, слово за словом - нежная медленность есть темп этих речей. Подобные речи доходят только до самых избранных; быть здесь слушателем - несравненное преимущество; не всякий имеет уши для Заратустры... Тем не менее не соблазнитель ли Заратустра?.. Но что же говорит он сам, когда в первый раз опять возвращается к своему одиночеству? Прямо противоположное тому, что сказал бы в этом случае какой-нибудь "мудрец", "святой", "спаситель мира" или какой-нибудь decadent... Он не только говорит иначе, он и сам иной...

Ученики мои, теперь ухожу я один! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А ещё лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.

Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо оплачивает тот учителю, кто навсегда остаётся только учеником. И почему не хотите вы ошипать венок мой?

Вы уважаете меня; но что будет, если когда-нибудь падёт уважение ваше? Берегитесь, чтобы статуя не убила вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре? Вы - верующие в меня; но что толку во всех верующих!

Вы ещё не искали себя, когда нашли меня. Так поступают все верующие; потому-то вера так мало значит.

Теперь я велю вам потерять меня и найти себя; и только когда вы все отречётесь от меня, я вернусь к вам...

Фридрих Ницше

В тот совершенный день, когда все достигает зрелости и не одни только виноградные грозди краснеют, упал луч солнца и на мою жизнь: я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей. Не напрасно хоронил я сегодня мой сорок четвертый год, у меня было право хоронить его - что было в нем жизненно, было спасено, стало бессмертным. Первая книга Переоценки всех ценностей, Песни Заратустры, Сумерки идолов, моя попытка философствовать молотом - сплошные дары, принесенные мне этим годом, даже его последней четвертью! Почему же мне не быть благодарным всей своей жизни? - Итак, я рассказываю себе свою жизнь.

ПОЧЕМУ Я ТАК МУДР

Счастье моего существования, его уникальность лежит, быть может, в его судьбе: выражаясь в форме загадки, я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще живу и старею. Это двойственное происхождение как бы от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни - одновременно и decadent, и начало - всего лучше объясняет, быть может, отличительную для меня нейтральность, беспартийность в отношении общей проблемы жизни. У меня более тонкое, чем у кого другого, чутье восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель par excellence - я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую. - Мой отец умер тридцати шести лет: он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому суждено было пройти бесследно, - он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. Его существование пришло в упадок в том же году, что и мое: в тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей витальности - я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В то время - это было в 1879

году - я покинул профессию в Базеле, прожил летом как тень в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел как тень в Наумбурге. Это был мой минимум: "Странник и его тень" возник тем временем. Без сомнения, я знал тогда толк в тенях... В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе, то смягчение и одухотворение, которые почти обусловлены крайним оскудением в крови и мускулах, создали "Утреннюю зарю". Совершенная ясность, прозрачность, даже чрезмерность духа, отразившиеся в названном произведении, уживались во мне не только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с эксцессом чувства боли. Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика *par excellence*, очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях не нашел бы в себе достаточно утонченности и спокойствия, не нашел бы дерзости скалолаза. Мои читатели, должно быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса, например, в самом знаменитом случае: в случае Сократа. - Все болезненные нарушения интеллекта, даже полуобморок, следующий за лихорадкой, оставались до сего времени совершенно чуждыми для меня вещами, о природе которых я впервые узнал лишь научным путем. Моя кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у меня жар. Один врач, долго лечивший меня как нервноболивого, сказал наконец: "Нет! больны не Ваши нервы, я сам лишь болен нервами". Конечно, хотя этого и нельзя доказать, во мне есть частичное вырождение; мой организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения я страдаю крайней слабостью желудочной системы. Болезнь глаз, доводившая меня подчас почти до слепоты, была не причиной, а только следствием; всякий раз, как возрастали мои жизненные силы, возвращалось ко мне в известной степени и зрение. - Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление - он означает, к сожалению, и обратный кризис, упадок, периодичность известного рода *decadence*. Нужно ли после этого говорить, что я испытан в вопросах *decadence*? Я прошел его во всех направлениях, взад и вперед. Само это филигранное искусство схватывать и понимать вообще, этот указатель *puances*, эта психология оттенков и изгибов и все, что образует мою особенность, все это было тогда впервые изучено и составило истинный дар того времени, когда все во мне утончилось, само наблюдение и все органы наблюдения. Рассматривать с точки зрения больного более здоровые понятия и ценности, и наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности более богатой жизни смотреть на таинственную работу инстинкта декаданса - таково было мое длительное упражнение, мой действительный опыт, и если в чем, так именно в этом я стал мастером. Теперь у меня есть опыт, опыт в том, чтобы перемещать перспективы: главное основание, почему одному только мне, пожалуй, стала вообще доступна "переоценка ценностей".

2

Если исключить, что я *decadent*, я еще и его противоположность. Мое доказательство, между прочим, состоит в том, что я всегда инстинктивно выбирал верные средства против болезненных состояний: тогда как *decadent* всегда выбирает вредные для себя средства. Как *summa summarum*, я был здоров; как частность, как специальный случай, я был *decadent*. Энергия к абсолютному одиночеству, отказ от привычных условий жизни, усилие над собою, чтобы больше не заботиться о себе, не служить себе и не позволять себе лечиться, - все это обнаруживает безусловный инстинкт-уверенность в понимании, что было

тогда прежде всего необходимо. Я сам взял себя в руки, я сам сделал себя наново здоровым: условие для этого - всякий физиолог согласится с этим - быть в основе здоровым. Существо типически болезненное не может стать здоровым, и еще меньше может сделать себя здоровым; для типически здорового, напротив, болезнь может даже быть энергичным стимулом к жизни, к продлению жизни. Так фактически представляется мне теперь этот долгий период болезни: я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие не легко могут находить в них вкус, - я сделал из моей воли к здоровью, к жизни, мою философию... Потому что - и это надо отметить - я перестал быть пессимистом в годы моей наименьшей витальности: инстинкт самовосстановления воспретил мне философию нищеты и уныния... А в чём проявляется в сущности удачность! В том, что удачный человек приятен нашим внешним чувствам, что он вырезан из дерева твёрдого, нежного и вместе с тем благоухающего. Ему нравится только то, что ему полезно; его удовольствие, его желание прекращается, когда переступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против повреждений, он обращает в свою пользу вредные случайности; что его не губит, делает его сильнее. Он инстинктивно собирает из всего, что видит, слышит, переживает, свою сумму: он сам есть принцип отбора, он многое пропускает мимо. Он всегда в своём обществе, окружён ли он книгами, людьми или ландшафтами; он удостоивает чести, выбирая, допуская, доверяя. Он реагирует на всякого рода раздражения медленно, с тою медленностью, которую выработали в нём долгая осторожность и намеренная гордость, - он испытывает раздражение, которое приходит к нему, но он далёк от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в "несчастье", ни в "вину"; он справляется с собою, с другими, он умеет забывать, - он достаточно силён, чтобы всё обращать себе на благо. Ну что ж, я есмь противоположность decadent: ибо я только что описал себя.

3

Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимо разъединённые миры повторяется в моей натуре во всех отношениях - я двойник, у меня есть и "второе" лицо кроме первого. И, должно быть, ещё и третье... Уже моё происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив; мне не стоит никакого труда быть "добрым европейцем". С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые имперские немцы, - я последний антиполитический немец. И однако, мои предки были польские дворяне: от них в моём теле много расовых инстинктов, кто знает? в конце концов даже и *liberum veto*. Когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку даже сами поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я принадлежу лишь к краплёным немцам. Однако моя мать, Франциска Элер, во всяком случае нечто очень немецкое; так же как и моя бабка с отцовской стороны, Эрдмута Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кругом Гёте. Её брат, профессор богословия Краузе в Кенигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем "Мутген" в дневнике юного Гёте. Она вышла замуж вторично за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге; в тот день великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была

большой почитательницей Наполеона; возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849. До вступления в обязанности приходского священника общины Рёккен близ Лютцена он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем четырёх принцесс. Его ученицами были ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская. Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королём Фридрихом-Вильгельмом IV, от которого и получил церковный приход; события 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рождённый в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов - Фридрих Вильгельм. Одну выгоду во всяком случае представлял выбор этого дня: день моего рождения был в течение всего моего детства праздником. - Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: мне кажется также, что этим объясняются все другие мои преимущества - за вычетом жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что я вовсе не нуждаюсь в намерении, а лишь в простом выжидании, чтобы невольно вступить в мир высоких и хрупких вещей: я там дома, моя сокровеннейшая страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. - Чтобы только понять что-либо в моём Заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, - одной ногой стоять по ту сторону жизни...

4

Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя - этим я также обязан моему несравненному отцу, - в тех даже случаях, когда это казалось мне крайне важным. Я даже, как бы не по-христиански ни выглядело это, не восстановлен против самого себя; можно вращать мою жизнь как угодно, и редко, в сущности один только раз, будут обнаружены следы недоброжелательства ко мне, - но, пожалуй, найдется слишком много следов доброй воли... Мои опыты даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят без исключения в их пользу; я приручаю всякого медведя; я и шутов делаю благонравными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского Педагогума, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда выше случая; мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого угодно инструмента, будь он даже так расстроен, как только может быть расстроен инструмент "человек", мне удастся, если я не болен, извлечь нечто такое, что можно слушать. И как часто слышал я от самих "инструментов", что еще никогда они так не звучали... Лучше всего, может быть, слышал я это от того непростительно рано умершего Генриха фон Штейна, который однажды, после заботливо испрошенного позволения, явился на три дня в Сильс-Мария, объясняя всем и каждому, что он приехал не ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в вагнеровском болоте (и кроме того, еще и в дюринговском!), был за эти три дня словно перерожден бурным ветром свободы, подобно тому, кто вдруг поднимается на свою высоту и получает крылья. Я повторял ему, что это результат хорошего воздуха здесь наверху, что так бывает с каждым, кто не зря поднимается на высоту 6000 футов над Байрейтом, - но он не хотел мне верить... Если, несмотря на это, против меня прегрешали не одним малым или большим проступком, то причиной тому была не "воля", меньше всего злая воля: скорее я мог бы - я только что указал на это - сетовать на добрую волю, внесшую в

мою жизнь немалый беспорядок. Мои опыты дают мне право на недоверие вообще к так называемым "бескорыстным" инстинктам, к "любви к ближнему", всегда готовой сунуться словом и делом. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности сопротивляться раздражениям, - сострадание только у decadents зовётся добродетелью. Я упрекаю сострадательных в том, что они легко утрачивают стыдливость, уважение и деликатное чувство дистанции, что от сострадания во мгновение ока разит чернью и оно походит, до возможности смешения, на дурные манеры, - что сострадательные руки могут при случае разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение после ран, в преимущественное право на тяжёлую вину. Преодоление сострадания отношу я к аристократическим добродетелям: в "Искушении Заратустры" я описал тот случай, когда до него доходит великий крик о помощи, когда сострадание, как последний грех, нисходит на него и хочет его заставить изменить себе. Здесь остаться господином, здесь высоту своей задачи сохранить в чистоте перед более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках, в этом и есть испытание, может быть, последнее испытание, которое должен пройти Заратустра, - истинное доказательство его силы...

5

Также и в другом отношении я являюсь еще раз моим отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти. Подобно каждому, кто никогда не жил среди равных себе и кому понятие "возмездие" так же недоступно, как понятие "равные права", я запрещаю себе в тех случаях, когда в отношении меня совершается малая или очень большая глупость, всякую меру противодействия, всякую меру защиты, - равно как и всякую оборону, всякое "оправдание". Мой способ возмездия состоит в том, чтобы как можно скорее послать вслед глупости что-нибудь умное: таким образом, пожалуй, можно еще догнать ее. Говоря притчей: я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от кислой истории... Стоит только дурно поступить со мною, как я "мщусь" за это, в этом можно быть уверенным: я нахожу в скором времени повод выразить "злодею" свою благодарность (между прочим, даже за злодеяние) - или попросить его о чем-то, что обязывает к большему, чем что-либо дать... Также кажется мне, что самое грубое слово, самое грубое письмо все-таки вежливее, все-таки честнее молчания. Тем, кто молчит, недостает почти всегда тонкости и учтивости сердца; молчание есть возражение; проглатывание по необходимости создает дурной характер - оно портит даже желудок. Все молчаливники страдают дурным пищеварением. - Как видно, я не хотел бы, чтобы грубость была оценена слишком низко, она является самой гуманной формой противоречия и, среди современной изнеженности, одной из наших первых добродетелей. - Кто достаточно богат, для того является даже счастьем нести на себе несправедливость. Бог, который сошел бы на землю, не стал бы ничего другого делать, кроме несправедливости, - взять на себя не наказание, а вину, - только это и было бы божественно.

6

Свобода от ressentiment, ясное понимание ressentiment - кто знает, какой благодарностью обязан я за это своей долгой болезни! Проблема не так проста: надо пережить ее, исходя из силы и исходя из слабости. Если следует что-нибудь вообще возразить против состояния болезни, против состояния

слабости, так это то, что в нем слабеет действительный инстинкт исцеления, а это и есть инстинкт обороны и нападения в человеке. Ни от чего не можешь отделаться, ни с чем не можешь справиться, ничего не можешь оттолкнуть - всё оскорбляет. Люди и вещи подходят назойливо близко, переживания поражают слишком глубоко, воспоминание предстает гноящейся раной. Болезненное состояние само есть своего рода *ressentiment*. - Против него существует у больного только одно великое целебное средство - я называю его русским фатализмом, тем безропотным фатализмом, с каким русский солдат, когда ему слишком в тягость военный поход, ложится наконец в снег. Ничего больше не принимать, не допускать к себе, не воспринимать в себя - вообще не реагировать больше... Глубокий смысл этого фатализма, который не всегда есть только мужество к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах, выражает ослабление обмена веществ, его замедление, своего рода волю к зимней спячке. Еще несколько шагов дальше в этой логике - и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу... Так как истощался бы слишком быстро, если бы реагировал вообще, то уже и вовсе не реагируешь - это логика. Но ни от чего не сгорают быстрее, чем от аффектов *ressentiment*. Досада, болезненная чувствительность к оскорблениям, бессилие в мести, желание, жажда мести, отравление во всяком смысле - все это для истощенных есть, несомненно, самый опасный род реагирования: быстрая трата нервной силы, болезненное усиление вредных выделений, например желчи в желудок, обусловлены всем этим. *Ressentiment* есть нечто само по себе запретное для больного - его зло: к сожалению, также и его наиболее естественная склонность. - Это понимал глубокий физиолог Будда. Его "религия", которую можно было бы скорее назвать гигиеной, дабы не смешивать ее с такими достойными жалости вещами, как христианство, ставила свое действие в зависимость от победы над *ressentiment*: освободить от него душу есть первый шаг к выздоровлению. "Не враждою оканчивается вражда, дружбою оканчивается вражда" - это стоит в начале учения Будды: так говорит не мораль, так говорит физиология. - *Ressentiment*, рожденный из слабости, всего вреднее самому слабому - в противоположном случае, когда предполагается богатая натура, *ressentiment* является лишним чувством, чувством, над которым остаться господином есть уже доказательство богатства. Кто знает серьезность, с какой моя философия предприняла борьбу с мстительными последышами чувства вплоть до учения о "свободной воле" - моя борьба с христианством есть только частный случай ее, - тот поймет, почему именно здесь я выясняю свое личное поведение, свой инстинкт-уверенность на практике. Во времена *decadence* я запрещал их себе как вредные; как только жизнь становилась вновь достаточно богатой и гордой, я запрещал их себе как нечто, что ниже меня. Тот "русский фатализм", о котором я говорил, проявлялся у меня в том, что годами я упорно держался за почти невыносимые положения, местности, жилища, общества, раз они были даны мне случаем, - это было лучше, чем изменять их, чем чувствовать их изменчивыми, - чем восставать против них... Мешать себе в этом фатализме, насильно возбуждать себя считал я тогда смертельно вредным: поистине, это и было всякий раз смертельно опасно. - Принимать себя самого как фатум, не хотеть себя "иным" - это и есть в таких обстоятельствах само великое разумение.

Иное дело война. Я по-своему воинствен. Нападать принадлежит к моим инстинктам. Уметь быть врагом, быть врагом - это предполагает, быть может,

сильную натуру, во всяком случае это обусловлено в каждой сильной натуре. Ей нужны сопротивления, следовательно, она ищет сопротивления: агрессивный пафос так же необходимо принадлежит к силе, как мстительные последствия чувства к слабости. Женщина, например, мстительна: это обусловлено её слабостью, как и её чувствительность к чужой беде. - Сила нападающего имеет в противнике, который ему нужен, своего рода меру, всякое возрастание проявляется в поисках более сильного противника - или проблемы: ибо философ, который воинствен, вызывает и проблемы наедине. Задача не в том, чтобы победить вообще сопротивление, но преодолеть такое сопротивление, на которое нужно затратить всю свою силу, ловкость и умение владеть оружием, - равного противника... Равенство перед врагом есть первое условие честной дуэли. Где презирают, там нельзя вести войну; где повелевают, где видят нечто ниже себя, там не должно быть войны. - Мой праксис войны выражается в четырёх положениях. Во-первых: я нападаю только на вещи, которые победоносны, - я жду, когда они при случае будут победоносны. Во-вторых: я нападаю только на вещи, против которых я не нашёл бы союзников, где я стою один - где я только себя компрометирую... Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы: это мой критерий правильного образа действий. В-третьих: я никогда не нападаю на личности - я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на успех его дряхлой книги у немецкого "образования", - так поймал я это образование с поличным... Так напал я на Вагнера, точнее, на лживость, на половинчатый инстинкт нашей "культуры", которая смешивает утончённых с богатыми, запоздалых с великими. В-четвёртых: я нападаю только на вещи, где исключено всякое различие личностей, где нет никакой подоплёки дурных опытов. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательства, при некоторых обстоятельствах даже благодарности. Я оказываю честь, я отличаю тем, что связываю своё имя с вещью, с личностью: за или против - это мне безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне, потому что с этой стороны я не переживал никаких фатальностей и стеснений, - самые убеждённые христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам, противник христианства *de rigueur*, далёк от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий.

8

Могу ли я осмелиться указать ещё одну, последнюю черту моей натуры, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно жуткая впечатлительность инстинкта чистоты, так что близость - что говорю я? - самое сокровенное, или "потроха", всякой души я воспринимаю физиологически - обоняю... В этой впечатлительности - мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякой тайной: большая скрытая грязь на дне иных душ, обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная побелкой воспитания, становится мне известной почти при первом соприкосновении. Если мои наблюдения правильны, такие не примиримые с моей чистоплотностью натуры относятся в свою очередь с предосторожностью к моему отвращению: но от этого они не становятся благоухающими... Как я себя постоянно приучал - крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования, я погибаю в нечистых условиях, - я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном и блестящем элементе. Это делает мне из общения

с людьми немалое испытание терпения; моя гуманность состоит не в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы переносить само это сочувствие к нему... Моя гуманность есть постоянное самопреодоление. - Но мне нужно одиночество, я хочу сказать, исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, лёгкого, играющего воздуха... Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству, или, если меня поняли, чистоте... К счастью, не чистому безумству. - У кого есть глаза для красок, тот назовёт его алмазным. - Отвращение к человеку, к "отребью" было всегда моей величайшей опасностью... Хотите послушать слова, в которых Заратустра говорит о своём освобождении от отвращения?

Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор? Как вознёсся я на высоту, где отребье не сидит уже у источника?

Разве не само моё отвращение создало мне крылья и силы, угадавшие источник? Поистине, я должен был взлететь на самую высь, чтобы вновь обрести родник радости! -

О, я нашёл его, братья мои! Здесь, на самой выси, бьёт для меня родник радости! И существует же жизнь, от которой не пьёт отребье вместе со мной!

Слишком стремительно течёшь ты для меня, источник радости! И часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его.

И мне надо ещё научиться более скромно приближаться к тебе: ещё слишком стремительно бьётся моё сердце навстречу тебе:

моё сердце, где горит моё лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, - как жаждет моё лето-сердце твоей прохлады!

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело, и полуднем лета!

Летом в самой выси, с холодными источниками и блаженной тишиной - о, придите, друзья мои, чтобы тишина стала ещё блаженней!

Ибо это - наша высь и наша родина: слишком высоко и круто живём мы здесь для всех нечистых и для жажды их.

Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости! Разве помутится он? Он улыбнётся в ответ вам своей чистотою.

На дереве будущего вьём мы своё гнездо; орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиночим!

Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые! Им казалось бы, что они пожирают огонь, и они обожгли бы себе глотки.

Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых! Ледяной пещерой было бы наше счастье для тела и духа их!

И, подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу - так живут могучие ветры.

И, подобно ветру, хочу я когда-нибудь ещё подуть среди них и своим духом отнять дыхание у духа их - так хочет моё будущее.

Поистине, могучий ветер Заратустра для всех низин; и такой совет даёт от своим врагам и всем, кто плюёт и харкает: остерегайтесь харкать против ветра!..

ПОЧЕМУ Я ТАК УМЁН

Почему я о некоторых вещах знаю больше? Почему я вообще так умён? Я никогда не думал над вопросами, которые не являются таковыми, - я себя не расточал. - Настоящих религиозных затруднений, например, я не знаю по опыту. От меня совершенно ускользнуло, как я мог бы быть "склонным ко греху". Точно

так же у меня нет надёжного критерия для того, что такое угрызение совести: по тому, что судачат на сей счёт, угрызение совести не представляется мне чем-то достойным уважения... Я не хотел бы отказываться от поступка после его совершения, я предпочёл бы совершенно исключить дурной исход, последствия из вопроса о ценности. При дурном исходе слишком легко теряют верный глаз на то, что сделано; угрызение совести представляется мне своего рода "дурным глазом". Читть тем выше то, что не удалось, как раз потому, что оно не удалось, - это уже скорее принадлежит к моей морали. - "Бог", "бессмертие души", "искупление", "потусторонний мир" - сплошные понятия, которым я никогда не дарил ни внимания, ни времени, даже ребёнком, - быть может, я никогда не был достаточно ребёнком для этого? - Я знаю атеизм отнюдь не как результат, ещё меньше как событие; он разумеется у меня из инстинкта. Я слишком любопытен, слишком загадочен, слишком надменен, чтобы позволить себе ответ, грубый, как кулак. Бог и есть грубый, как кулак, ответ, неделикатность по отношению к нам, мыслителям, - в сущности, даже просто грубый, как кулак, запрет для нас: вам нечего думать!.. Гораздо больше интересуется меня вопрос, от которого больше зависит "спасение человечества", чем от какой-нибудь теологической курьезности: вопрос о питании. Для обиходного употребления можно сформулировать его таким образом: "как должен именно ты питаться, чтобы достигнуть своего максимума силы, *virtu* в стиле Ренессанс, добродетели, свободной от моралина?" - Мои опыты здесь из ряда вои плохи; я изумлен, что так поздно внял этому вопросу, так поздно научился из этих опытов "разуму". Только совершенная негодность нашей немецкой культуры - ее "идеализм" - объясняет мне до некоторой степени, почему я именно здесь отстал до святости. Эта "культура", которая наперед учит терять из виду реальности, чтобы гнаться за исключительно проблематическими, так называемыми "идеальными" целями, например за "классическим образованием", - как будто уже не осуждено наперед соединение в одном понятии "классического" и "немецкого"! Более того, это действует увеселительно - представьте себе "классически образованного" жителя Лейпцига! - В самом деле, до самого зрелого возраста я всегда ел плохо - выражаясь морально, "безлично", "бескорыстно", "альтруистически", - на благо поваров и прочих братьев во Христе. Я очень серьезно отрицал, например, благодаря лейпцигской кухне, одновременно с началом моего изучения Шопенгауэра (1865), свою "волю к жизни". В целях недостаточного питания еще испортить себе и желудок - эту проблему названная кухня разрешает, как мне казалось, удивительно счастливо. (Говорят, 1866 год внес сюда перемену.) Но немецкая кухня вообще - чего только нет у нее на совести! Суп перед обедом (еще в венецианских поваренных книгах XVI века это называлось *alla tedesca*); вареное мясо, жирно и мучнисто приготовленные овощи; извращение мучных блюд в пресс-папье! Если прибавить к этому еще прямо скотскую потребность в питье после еды старых, отнюдь не одних только старых немцев, то становится понятным происхождение немецкого духа - из расстроенного кишечника... Немецкий дух есть несварение, он ни с чем не справляется. - Но и английская диета, которая по сравнению с немецкой и даже французской кухней есть нечто вроде "возвращения к природе", именно к каннибализму, глубоко противна моему собственному инстинкту; мне кажется, что она дает духу тяжелые ноги - ноги англичанок... Лучшая кухня - кухня Пьемонта. - Спиртные напитки мне вредны; стакана вина или пива в день вполне достаточно, чтобы сделать мне из жизни "юдоль скорби", - в Мюнхене живут мои антиподы. Если даже предположить, что я несколько поздно понял это, все-таки я переживал это с самого раннего детства. Мальчиком я думал, что потребление вина, как и курение табака,

вначале есть только суета молодых людей, позднее - дурная привычка. Может быть, в этом терпком суждении виновно также наумбургское вино. Чтобы верить, что вино просветляет, для этого я должен был бы быть христианином, стало быть, верить в то, что является для меня абсурдом. Довольно странно, что при этой крайней способности расстраиваться от малых, сильно разбавленных доз алкоголя я становлюсь почти моряком, когда дело идет о сильных дозах. Еще мальчиком вкладывал я в это свою смелость. Написать и также переписать в течение одной ночи длинное латинское сочинение, с честолубием в пере, стремящимся подражать в строгости и сжатости моему образцу Саллюстия, и выпить за латынью грог самого тяжелого калибра - это, в бытность мою учеником почтенной Шульпфорты, вовсе не противоречило моей физиологии, быть может, и физиологии Саллюстия, что бы ни думала на сей счет почтенная Шульпфорта... Позже, к середине жизни, я восставал, правда, все решительнее против всяких "духовных" напитков: я, противник вегетарианства по опыту, совсем как обративший меня Рихард Вагнер, могу вполне серьезно советовать всем более духовным натурам безусловное воздержание от алкоголя. Достаточно воды... Я предпочитаю местности, где есть возможность черпать из текущих родников (Ницца, Турин, Сильс); маленький стакан следует всюду за мною, как собака. *In vino veritas*: кажется, и здесь я опять не согласен со всем миром в понятии "истины" - для меня дух носится над водою... Еще несколько указаний из моей морали. Сытный обед переваривается легче небольшого обеда. Приведение в действие желудка, как целого, есть первое условие хорошего пищеварения. Величину своего желудка надо знать. По той же причине не следует советовать тех продолжительных обедов, которые я называю прерванными жертвенными торжествами, - таковы обеды за *table d'hôte*. - Никаких ужинов, никакого кофе: кофе омрачает. Чай только утром полезен. Немного, но крепкий; чай очень вреден и делает больным на целый день, если он на один градус слабее нужного. У каждого здесь своя мера, часто в самых узких и деликатных границах. В очень раздражающем климате не следует советовать чай сначала: нужно начинать за час до чаю чашкой густого, очищенного от масла какао. - Как можно меньше сидеть; не доверять ни одной мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении - когда и мускулы празднуют свой праздник. Все предрассудки происходят от кишечника. - Сидячая жизнь - я уже говорил однажды - есть истинный грех против духа святого.

2

С вопросом о питании тесно связан вопрос о месте и климате. Никто не волен жить где угодно; а кому суждено решать великие задачи, требующие всей его силы, тот даже весьма ограничен в выборе. Климатическое влияние на обмен веществ, его замедление и ускорение, заходит так далеко, что ошибка в месте и климате может не только сделать человека чуждым его задаче, но даже вовсе скрыть от него эту задачу: он никогда не увидит ее. Животный *vigor* никогда не станет в нем настолько большим, чтобы было достигнуто то чувство свободы, наполняющей дух, когда человек признает: это могу я один... Обратившейся в привычку, самой малой вялости кишечника вполне достаточно, чтобы из гения сделать нечто посредственное, нечто "немецкое"; одного немецкого климата достаточно, чтобы лишить мужества сильный, даже склонный к героизму кишечник. Темп обмена веществ стоит в прямом отношении к подвижности или слабости ног духа; ведь сам "дух" есть только род этого обмена веществ. Пусть сопоставят места, где есть и были богатые духом люди, где остроумие, утонченность, злость принадлежали к счастью, где гений почти необходимо

чувствовал себя дома: они имеют все замечательно сухой воздух. Париж, Прованс, Флоренция, Иерусалим, Афины - эти имена о чем-нибудь да говорят: гений обусловлен сухим воздухом, чистым небом - стало быть, быстрым обменом веществ, возможностью всегда вновь доставлять себе большие, даже огромные количества силы. У меня перед глазами случай, где значительный и склонный к свободе дух только из-за недостатка инстинкта-тонкости в климатическом отношении сделался узким, кропотливым специалистом и брюзгой. Я и сам мог бы в конце концов обратиться в такой случай, если бы болезнь не принудила меня к разуму, к размышлению о разуме в реальности. Теперь, когда я, вследствие долгого упражнения, отмечаю на себе влияния климатического и метеорологического происхождения, как на тонком и верном инструменте, и даже при коротком путешествии, скажем, из Турина в Милан вычисляю физиологически на себе перемену в градусах влажности воздуха, теперь я со страхом думаю о том зловещем факте, что моя жизнь до последних десяти лет, опасных для жизни лет, всегда протекала в неподобающих и как раз для меня запретных местностях. Наумбург, Шюльпфорта, Тюрингия вообще, Лейпциг, Базель, Венеция - все это несчастные места для моей физиологии. Если у меня вообще нет приятного воспоминания обо всем моем детстве и юности, то было бы глупостью приписывать это так называемым моральным причинам, - например бесспорному недостатку удовлетворительного общества: ибо этот недостаток существует и теперь, как он существовал всегда, но не мешал мне быть бодрым и смелым. Невежество in physiologicis - проклятый "идеализм" - вот действительная напасть в моей жизни, лишнее и глупое в ней, нечто, из чего не выросло ничего доброго, с чем нет примирения, чему нет возмещения. Последствиями этого "идеализма" объясняю я себе все промахи, все большие инстинкты-заблуждения и "скромности" в отношении задачи моей жизни, например, что я стал филологом - почему по меньшей мере не врачом или вообще чем-нибудь раскрывающим глаза? В базельскую пору вся моя духовная диета, в том числе распределение дня, была совершенно бессмысленным злоупотреблением исключительных сил, без какого-либо покрывающего их трату притока, без мысли о потреблении и возмещении. Не было никакого более тонкого эгоизма, не было никакой охраны повелительного инстинкта; это было приравнивание себя к кому угодно, это было "бескорыстие", забвение своей дистанции - нечто, чего я себе никогда не прощу. Когда я пришел почти к концу, именно потому, что я пришел почти к концу, я стал размышлять об этой основной неразумности своей жизни - об "идеализме". Только болезнь привела меня к разуму.

3

Выбор пищи; выбор климата и места; третье, в чем ни за что не следует ошибиться, есть выбор своего способа отдыха. И здесь, смотря по тому, насколько дух есть *sui generis*, пределы ему дозволенного, т. е. полезного, очень узки. В моем случае всякое чтение принадлежит к моему отдыху: следовательно, к тому, что освобождает меня от себя, что позволяет мне гулять по чужим наукам и чужим душам - чего я не принимаю уже всерьез. Чтение есть для меня отдых именно от моей серьезности. В глубоко рабочее время у меня не видать книг: я остерегся бы позволить кому-нибудь вблизи меня говорить или даже думать. А это и называю я читать... Заметили ли вы, что в том глубоком напряжении, на какое беременность обрекает дух и в сущности весь организм, всякая случайность, всякий род раздражения извне влияют слишком болезненно, "поражают" слишком глубоко? Надо по возможности устранить со своего пути случайность, внешнее раздражение; нечто вроде

самозамуровывания принадлежит к первым мудрым инстинктам духовной беременности. Позволю ли я чужой мысли тайно перелезть через стену? - А это и называлось бы читать... За временем работы и ее плодов следует время отдыха: ко мне тогда, приятные, умные книги, которых я только что избегал! - Будут ли это немецкие книги?.. Я должен отсчитать полгода назад, чтобы поймать себя с книгой в руке. Но что же это была за книга? - Прекрасное исследование Виктора Брошара, *les Sceptiques Grecs*, в котором хорошо использованы и мои *Laertiana*. Скептики - это единственный достойный уважения тип среди от двух- до пятимысленной семьи философов!.. Впрочем, я почти всегда нахожу убежище в одних и тех же книгах, в небольшом их числе, именно в доказанных для меня книгах. Мне, быть может, не свойственно читать много и многое: читальная комната делает меня больным. Мне не свойственно также много и многое любить. Осторожность, даже враждебность к новым книгам скорее принадлежит к моему инстинкту, чем "терпимость", "*largeur du coeur*" и прочая "любовь к ближнему"... Я всегда возвращаюсь к небольшому числу старших французов: я верю только во французскую культуру и считаю недоразумением все, что кроме нее называется в Европе "культурой", не говоря уже о немецкой культуре... Те немногие случаи высокой культуры, которые я встречал в Германии, были все французского происхождения, прежде всего госпожа Козима Вагнер, самый ценный голос в вопросах вкуса, какой я когда-либо слышал. - Что я не читаю Паскаля, но люблю как самую поучительную жертву христианства, которую медленно убивали сначала телесно, потом психологически, люблю как целую логику ужаснейшей формы нечеловеческой жестокости; что в моем духе, кто знает? должно быть, и в теле есть нечто от причудливости Монтеня; что мой артистический вкус не без злобы встает на защиту имен Мольера, Корнеля и Расина против дикого гения, каков Шекспир, - все это в конце концов не исключает возможности, чтобы и самые молодые французы были для меня очаровательным обществом. Я отнюдь не вижу, в каком столетии истории можно было бы собрать столь интересных и вместе с тем столь деликатных психологов, как в нынешнем Париже: называю наугад - ибо их число совсем не мало - господина Поль Бурже, Пьер Лоти, Жип, Мельяк, Анатолий Франс, Жюль Леметр или, чтобы назвать одного из сильной расы, истого латинянина, которому я особенно предан, - Ги де Мопассан. Я предпочитаю это поколение, между нами говоря, даже их великим учителям, которые все были испорчены немецкой философией (господин Тэн, например, Гегелем, которому он обязан непониманием великих людей и эпох). Куда бы ни простиралась Германия, она портит культуру. Впервые война "освободила" дух во Франции... Стендаль, одна из самых прекрасных случайностей моей жизни - ибо все, что в ней составляет эпоху, принес мне случай и никогда рекомендация, - совершенно не оценим с его предвосхищающим глазом психолога, с его схватыванием фактов, которое напоминает о близости величайшего реалиста (*ex ungue Napoleonem*); наконец, и это немалая заслуга, как честный атеист - редкая и почти с трудом отыскиваемая во Франции *species* - надо воздать должное Просперу Мериме... Может быть, я и сам завидую Стендалю? Он отнял у меня лучшую остроту атеиста, которую именно я мог бы сказать: "Единственное оправдание для Бога состоит в том, что он не существует"... Я и сам сказал где-то: что было до сих пор самым большим возражением против существования? Бог...

Высшее понятие о лирическом поэте дал мне Генрих Гейне. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь сладкой и страстной музыки. Он обладал той

божественной злобой, без которой я не могу мыслить совершенства, - я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим их бог от сатира. - И как он владел немецким языком! Когда-нибудь скажут, что Гейне и я были лучшими артистами немецкого языка - в неизмеримом отдалении от всего, что сделали с ним просто немцы. - С Манфредом Байрона должны меня связывать глубокие родственные узы: я находил в себе все эти бездны - в тринадцать лет я был уже зрел для этого произведения. У меня нет слов, только взгляд для тех, кто осмеливается в присутствии Манфреда произнести слово "Фауст". Немцы неспособны к пониманию величия: доказательство - Шуман. Я сочинил намеренно, из злобы к этим слащавым саксонцам контрвертю к Манфреду, о которой Ганс фон Бюлов сказал, что ничего подобного он еще не видел на нотной бумаге: что это как бы насилие над Евтерпой. - Когда я ищу свою высшую формулу для Шекспира, я всегда нахожу только то, что он создал тип Цезаря. Подобных вещей не угадывают - это есть или этого нет. Великий поэт черпает только из своей реальности - до такой степени, что наконец он сам не выдерживает своего произведения... Когда я бросаю взгляд на своего Заратустру, я полчаса хожу по комнате взад и вперед, неспособный совладать с невыносимым приступом рыданий. - Я не знаю более разрывающего душу чтения, чем Шекспир: что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутом! - Понимают ли Гамлета? Не сомнение, а несомненность есть то, что сводит с ума... Но для этого надо быть глубоким, надо быть бездною, философом, чтобы так чувствовать... Мы все боимся истины... И я должен признаться в этом; я инстинктивно уверен в том, что лорд Бэкон есть родоначальник и саможиводер этого самого жуткого рода литературы, - что мне до жалкой болтовни американских плоских и тупых голов? Но сила к самой могучей реальности образа не только совместима с самой могучей силой к действию, к чудовищному действию, к преступлению - она даже предполагает ее. Мы знаем далеко не достаточно о лорде Бэконе, первом реалисте в великом значении слова, чтобы знать, что он делал, чего хотел, что пережил в себе... К черту, господа критики! Если предположить, что я окрестил Заратустру чужим именем, например именем Рихарда Вагнера, то не хватило бы остроумия двух тысячелетий на то, чтобы узнать в авторе "Человеческого, слишком человеческого" провидца Заратустры...

5

Здесь, где я говорю о том, что служило отдохновением в моей жизни, я должен сказать слово благодарности тому, на чем я отдыхал всего глубже и сердечнее. Этим было, несомненно, близкое общение с Рихардом Вагнером. Я не высоко ценю мои остальные отношения с людьми, но я ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни дни, проведенные в Трибшене, дни доверия, веселья, высоких случайностей - глубоких мгновений... Я не знаю, что другие переживали с Вагнером, - на нашем небе никогда не было облаков. - И здесь я еще раз возвращаюсь к Франции, - у меня нет доводов, у меня только презрительная усмешка против вагнерианцев и против hoc genus omne, которые думают, что чтят Вагнера тем, что находят его похожим на самих себя... Таким, как я есть, чуждый в своих глубочайших инстинктах всему немецкому, так что уже близость немца замедляет мое пищеварение, - я вздохнул в первый раз в жизни при первом соприкосновении с Вагнером: я принимал, я почитал его как за границу, как противоположность, как живой протест против всех "немецких добродетелей". - Мы, которые в болотном воздухе пятидесятых годов были детьми, мы необходимо являемся пессимистами для понятия "немецкое"; мы

и не можем быть ничем иным, как революционерами, - мы не примиримся с положением вещей, где господствует лицемер. Мне совершенно безразлично, играет ли он теперь другими красками, облачен ли он в пурпур или одет в форму гусара... Ну что ж! Вагнер был революционером, он бежал от немцев... У артиста нет в Европе отечества, кроме Парижа; *delicatesse* всех пяти чувств в искусстве, которую предполагает искусство Вагнера, чутье *nuances*, психологическую болезненность - всё это находят только в Париже. Нигде нет этой страсти в вопросах формы, этой серьезности в *mise en scene* - это парижская серьезность *par excellence*. В Германии не имеют никакого понятия о чудовищном честолюбии, живущем в душе парижского артиста. Немец добродушен - Вагнер был отнюдь не добродушен... Но я уже достаточно высказался (в "По ту сторону добра и зла" II 724 сл.) [II 377 сл.], куда относится Вагнер, кто его ближние: это французская позднейшая романтика, те высоко парящие и стремящиеся ввысь артисты, как Делакруа, как Берлиоз, с неким *fond* болезни, неисцелимости в существе, сплошные фанатики выражения, насквозь виртуозы... Кто был первым интеллигентным приверженцем Вагнера вообще? Шарль Бодлер, тот самый, кто первый понял Делакруа, первый типический *decadent*, в ком опознало себя целое поколение артистов, - он был, возможно, и последним... Чего я никогда не прощал Вагнеру? Того, что он снизошел к немцам - что он сделался имперсконемецким... Куда бы ни проникала Германия, она портит культуру.

6

Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ибо я был приговорен к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну что ж, мне был нужен Вагнер. Вагнер есть противоядие против всего немецкого *par excellence* - яда, я не оспариваю этого... С той минуты, как появился клавираусцуг Тристана - примите мой комплимент, господин фон Бюлов! - я был вагнерианцем. Более ранние произведения Вагнера я считал ниже себя - еще слишком вульгарными, слишком "немецкими"... Но и поныне я ищу, ищу тщетно во всех искусствах произведения, равного Тристану по его опасной обольстительности, по его грозной и сладкой бесконечности. Вся загадочность Леонардо да Винчи утрачивает свое очарование при первом звуке Тристана. Это произведение положительно *non plus ultra* Вагнера; он отдыхал от него на Мейстерзингерах и Кольце. Сделаться более здоровым - это шаг назад для натуры, каков Вагнер... Я считаю первостепенным счастьем, что я жил в нужное время и жил именно среди немцев, чтобы быть зрелым для этого произведения: так велико мое любопытство психолога. Мир беден для того, кто никогда не был достаточно болен для этого "сладострастия ада": здесь позволено, здесь почти приказано прибегнуть к мистической формуле. - Я думаю, я знаю лучше кого-либо другого то чудовищное, что доступно было Вагнеру, те пятьдесят миров чуждых восторгов, для которых ни у кого, кроме Вагнера, не было крыльев; и лишь такой, как я, бывает достаточно силен, чтобы самое загадочное, самое опасное обращать себе на пользу и через то становиться еще сильнее; я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни. Нас сближает то, что мы глубоко страдали, страдали также один за другого, страдали больше, чем люди этого столетия могли бы страдать, и наши имена всегда будут соединяться вместе; и как Вагнер, несомненно, является только недоразумением среди немцев, так и я, несомненно, останусь им навсегда. - Прежде всего два века психологической и артистической дисциплины, господа германцы!.. Но этого нельзя наверстать.

- Я скажу еще одно слово для самых изысканных ушей: чего я в сущности требую от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день после полудня. Чтобы она была причудливой, шаловливой, нежной, как маленькая сладкая женщина, полная лукавства и грации... Я никогда не допущу, чтобы немец мог знать, что такое музыка. Те, кого называют немецкими музыкантами, прежде всего великими, были иностранцы, славяне, кроаты, итальянцы, нидерландцы - или евреи; в ином случае немцы сильной расы, вымершие немцы, как Генрих Шютц, Бах и Гендель. Я сам все еще достаточно поляк, чтобы за Шопена отдать всю остальную музыку: по трем причинам я исключаю Зигфрид-идиллию Вагнера, может быть, некоторые произведения Листа, который благородством оркестровки превосходит всех музыкантов; и в конце концов все, что создано по ту сторону Альп - по эту же сторону... Я не мог бы обойтись без Россини, еще меньше без моего Юга в музыке, без музыки моего венецианского maestro Pietro Gasti. И когда я говорю: по ту сторону Альп, я собственно говорю только о Венеции. Когда я ищу другого слова для музыки, я всегда нахожу только слово "Венеция". Я не умею делать разницы между слезами и музыкой - я знаю счастье думать о Юге не иначе как с дрожью ужаса.

В юности, в светлую ночь
раз на мосту я стоял.
Издали слышалось пенье;
словно по влаге дрожащей
золота струи текли.
Гондолы, факелы, музыка -
В сумерках всё расплывалось...
Звуками теми втайне задеты,
струны души зазвенели,
и гондольеру запела,
дрогнув от яркого счастья, душа.
- Слышал ли кто ее песнь?

Во всем этом - в выборе пищи, места, климата, отдыха - повелевает инстинкт самосохранения, который самым несомненным образом проявляется как инстинкт самозащиты. Многого не видеть, не слышать, не допускать к себе - первое благоразумие, первое доказательство того, что человек не есть случайность, а необходимость. Расхожее название этого инстинкта самозащиты есть вкус. Его императив повелевает не только говорить Нет там, где Да было бы "бескорыстием", но и говорить Нет так редко, как только возможно. Надо отделять, устранять себя от всего, что делало бы это Нет все вновь и вновь необходимым. Разумность здесь заключается в том, что издержки на оборону, даже самые малые, обращаясь в правило, в привычку, обуславливают чрезвычайное и совершенно лишнее оскудение. Наши большие издержки суть самые частые малые издержки. Отстранение, недопущение приблизиться к себе есть издержка - пусть в этом не заблуждаются, - растраченная на отрицательные цели сила. От постоянной необходимости обороны можно ослабеть настолько, чтобы не иметь более возможности обороняться. - Предположим, я выхожу из своего дома и нахожу перед собою вместо спокойного аристократического Турина немецкий городишко: мой инстинкт должен был бы насторожиться, чтобы

отстранить все, что хлынуло бы на него из этого плоского и трусливого мира. Или мне предстал бы немецкий большой город, этот застроенный порок, где ничего не произрастает, куда все, хорошее и дурное, втаскивается извне. Разве не пришлось бы мне обратиться в ежа? - Но иметь иглы есть мотовство, даже двойная роскошь, когда дана свобода иметь не иглы, а открытые руки...

Второе благоразумие и самозащита состоит в том, чтобы свести до возможного минимума реагирование и отстранять от себя положения и условия, где человек обречен как бы отрешиться от своей "свободы" и инициативы и обратиться в простой реагент. Я беру для сравнения общение с книгами. Ученый, который в сущности лишь "переворачивает" горы книг - средний филолог до 200 в день, - совершенно теряет в конце концов способность самостоятельно мыслить. Если он не переворачивает, он не мыслит. Он отвечает на раздражение (на прочтенную мысль), когда он мыслит, - он в конце концов только реагирует. Ученый отдает всю свою силу на утверждение и отрицание, на критику уже продуманного, - сам он не думает больше... Инстинкт самозащиты притупился в нем, иначе он оборонялся бы от книг. Ученый есть *decadent*. Это я видел своими глазами: одаренные, богатые и свободные натуры уже к тридцати годам "позорно начитанны", они только спички, которые надо потереть, чтобы они дали искру - "мысль". - Ранним утром, в начале дня, во всей свежести, на утренней заре своих сил читать книгу - это называю я порочным!

9

В этом месте нельзя уклониться от истинного ответа на вопрос, как становятся сами собою. И этим я касаюсь главного пункта в искусстве самосохранения - эгоизма... Если допустить, что задача, определение, судьба задачи значительно превосходит среднюю меру, то нет большей опасности, как увидеть себя самого одновременно с этой задачей. Если люди слишком рано становятся сами собою, это предполагает, что они даже отдаленнейшим образом не подозревают, что они есть. С этой точки зрения имеют свой собственный смысл и ценность даже жизненные ошибки, временное блуждание и окольные пути, остановки, "скромности", серьезность, растрченная на задачи, которые лежат по ту сторону собственной задачи. В этом находит выражение великая мудрость, даже высшая мудрость, где *nosce te ipsum* было бы рецептом для гибели, где забвение себя, непонимание себя, умаление себя, сужение, сведение себя на нечто среднее становится самым разумом. Выражаясь морально: любовь к ближнему, жизнь для других и другого может быть охранительной мерой для сохранения самой твердой любви к себе; это исключительный случай, когда я против своих правил и убеждений становлюсь на сторону "бескорыстных" инстинктов - они служат здесь эгоизму и воспитанию своего Я. Надо всю поверхность сознания - сознание есть поверхность - сохранить чистой от какого бы то ни было великого императива. Надо остерегаться даже всякого высокопарного слова, всякой высокопарной позы! Это сплошные опасности, препятствующие слишком раннему "самоуразумению" инстинкта. - Между тем в глубине постепенно растёт организующая, призванная к господству "идея" - она начинает повелевать, она медленно выводит обратно с окольных путей и блужданий, она подготавливает отдельные качества и способности, которые проявятся когда-нибудь как необходимое средство для целого, - она вырабатывает поочередно все служебные способности еще до того, как предположит что-либо о доминирующей задаче, о "цели" и "смысле". - Если рассматривать мою жизнь с этой стороны, она представится положительно чудесной. Для задачи переоценки ценностей потребовалось бы, пожалуй, больше

способностей, чем когда-либо соединялось в одном лице, прежде всего потребовалась бы протиположность способностей без того, чтобы они друг другу мешали, друг друга разрушали. Иерархия способностей, дистанция, искусство разделять, не создавая вражды; ничего не смешивать, ничего не "примирять"; огромное множество, которое, несмотря на это, есть противоположность хаоса, - таково было предварительное условие, долгая сокровенная работа и артистизм моего инстинкта. Его высший надзор проявлялся до такой степени сильно, что я ни в коем случае и не подозревал, что созревает во мне, - что все мои способности в один день распустились внезапно, зрелые в их последнем совершенстве. Я не помню, чтобы мне когда-нибудь пришлось стараться, - ни одной черты борьбы нельзя указать в моей жизни. Я составляю противоположность героической натуры. Чего-нибудь "хотеть", к чему-нибудь "стремиться", иметь в виду "цель", "желание" - ничего этого я не знаю из опыта. И в данное мгновение я смотрю на своё будущее - широкое будущее! - как на гладкое море: ни одно желание не пенится в нём, я ничуть не хочу, чтобы что-либо стало иным, нежели оно есть; я сам не хочу стать иным... Но так жил я всегда. У меня не было ни одного желания. Едва ли кто другой на сорок пятом году жизни может сказать, что он никогда не заботился о почестях, о женщинах, о деньгах! - Не то, чтобы у меня их не было... Так, сделался я, например, однажды профессором университета - я даже отдалённейшим образом не помышлял об этом, потому что мне едва исполнилось 24 года. Так, двумя годами раньше сделался я однажды филологом: в том смысле, что моя первая филологическая работа, моё начало во всяком смысле, была принята моим учителем Ричлем для напечатания в его "Rheinisches Museum" (Ричль - я говорю это с уважением - единственный гениальный учёный, которого я до сих пор видел. Он обладал той милой испорченностью, которая отличает нас, тюрингенцев, и при которой даже немец становится симпатичным - даже к истине мы предпочитаем идти окольными путями. Я не хотел бы этими словами сказать, что я недостаточно высоко ценю моего более близкого соотечественника, умного Леопольда фон Ранке...).

10

- Меня спросят, почему я собственно рассказал все эти маленькие и, по распространённому мнению, безразличные вещи; этим я врежу себе самому тем более, если я призван решать великие задачи. Ответ: эти маленькие вещи - питание, место, климат, отдых, вся казуистика себялюбия - неизмеримо важнее всего, что до сих пор почиталось важным. Именно здесь надо начать переучиваться. То, что человечество до сих пор серьёзно оценивало, были даже не реальности, а простые химеры, говоря строже, ложь, рождённая из дурных инстинктов больных, в самом глубоком смысле вредных натур - все эти понятия "Бог", "душа", "добродетель", "грех", "потусторонний мир", "истина", "вечная жизнь"... Но в них искали величия человеческой натуры, её "божественность"... Все вопросы политики, общественного строя, воспитания извращены до основания тем, что самых вредных людей принимали за великих людей, - что учили презирать "маленькие" вещи, стало быть, основные условия самой жизни... Когда я сравниваю себя с людьми, которых до сих пор почитали как первых людей, разница становится осязательной. Я даже не отношу этих так называемых первых людей к людям вообще - для меня они отбросы человечества, вырожденки болезней и мстительных инстинктов: все они нездоровые, в основе неизлечимые чудовища, мстящие жизни... Я хочу быть их противоположностью: моё преимущество состоит в самом тонком понимании всех признаков здоровых

инстинктов. Во мне нет ни одной болезненной черты; даже в пору тяжёлой болезни я не сделался болезненным; напрасно ищут в моём существе черту фанатизма. Ни в одно мгновение моей жизни нельзя указать мне самонадеянного или патетического поведения. Пафос позы не есть принадлежность величия; кому нужны вообще позы, тот лжив... Берегитесь всех живописных людей! - Жизнь становилась для меня лёгкой, легче всего, когда она требовала от меня наиболее тяжёлого. Кто видел меня в те семьдесят дней этой осени, когда я, без перерыва, писал только вещи первого ранга, каких никто не создавал ни до, ни после меня, с ответственностью за все тысячелетия после меня, тот не заметил во мне следов напряжения; больше того, во мне была бьющая через край свежесть и бодрость. Никогда не ел я с более приятным чувством, никогда не спал я лучше. Я знаю только одно отношение к великим задачам - игру: как признак величия это есть существенное условие. Малейшее напряжение, более угрюмая мина, какой-нибудь жёсткий звук в горле, всё это будет возражением против человека и ещё больше против его творения!.. Нельзя иметь нервов... Страдать от безлюдья есть также возражение - я всегда страдал только от "многолюдья"... В абсурдно раннем возрасте, семи лет, я знал уже, что до меня не дойдёт ни одно человеческое слово, - видели ли, чтобы это когда-нибудь меня огорчило? - И нынче я также любезен со всеми, я даже полон внимания к самым низменным существам - во всём этом нет ни грана высокомерия, ни скрытого презрения. Кого я презираю, тот угадывает, что он мною презираем: я возмущаю одним своим существованием всё, что носит в теле дурную кровь... Моя формула для величия человека есть *amor fati*: не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади, ни во веки вечные. Не только переносить необходимость, но и не скрывать её - всякий идеализм есть ложь перед необходимостью, - любить её...

ПОЧЕМУ Я ПИШУ ТАКИЕ ХОРОШИЕ КНИГИ

Я одно, мои сочинения другое. Здесь, раньше чем я буду говорить о них, следует коснуться вопроса о понимании и непонимании этих сочинений. Я говорю об этом со всей подобающей небрежностью, ибо это отнюдь не своевременный вопрос. Я и сам ещё не своевременен, иные люди рождаются посмертно. Когда-нибудь понадобятся учреждения, где будут жить и учить, как я понимаю жизнь и учение; будут, быть может, учреждены особые кафедры для толкования Заратустры. Но это совершенно противоречило бы мне, если бы я теперь уже ожидал ушей и рук для моих истин: что нынче не слышат, что нынче не умеют брать от меня - это не только понятно, но даже представляется мне справедливым. Я не хочу, чтобы меня смешивали с другими, - а для этого нужно, чтобы и я сам не смешивал себя с другими. - Повторяю ещё раз, в моей жизни почти отсутствуют следы "злой воли"; я едва ли мог бы рассказать хоть один случай литературной "злой воли". Зато слишком много чистого безумия!.. Мне кажется, что, если кто-нибудь берёт в руки мою книгу, он этим оказывает себе самую редкую честь, какую только можно себе оказать - я допускаю, что он снимает при этом обувь, не говоря уже о сапогах... Когда однажды доктор Генрих фон Штейн откровенно жаловался, что ни слова не понимает в моем Заратустре, я сказал ему, что это в порядке вещей: кто понял, т. е. пережил хотя бы шесть предложений из Заратустры, тот уже поднялся на более высокую ступень, чем та, которая доступна "современным" людям. Как мог бы я при этом чувстве дистанции хотя бы только желать, чтобы меня читали "современники", которых я знаю! Мое превосходство прямо обратно превосходству Шопенгауэра -

я говорю: "non legor, non legar". - Не то, чтобы я низко ценил удовольствие, которое мне не раз доставляла невинность в отрицании моих сочинений. Еще этим летом, когда я своей веской, слишком тяжеловесной литературой мог бы вывести из равновесия всю остальную литературу, один профессор Берлинского университета дал мне благосклонно понять, что мне следует пользоваться другой формой: таких вещей никто не читает. - В конце концов не Германия, а Швейцария дала мне два таких примера. Статья доктора В. Видмана в "Bund" о "По ту сторону добра и зла" под заглавием "Опасная книга Ницше" и общий обзор моих сочинений, сделанный господином Карлом Шпиттелером в том же "Bund", были в моей жизни максимумом - остерегаюсь сказать чего... Последний трактовал, например, моего Заратустру как высшее упражнение стиля и желал, чтобы впредь я позаботился и о содержании; доктор Видман выражал свое уважение перед мужеством, с каким я стремлюсь к уничтожению всех пристойных чувств. - Благодаря шутке со стороны случая каждое предложение здесь с удивлявшей меня последовательностью было истиной, поставленной вверх ногами: в сущности, не оставалось ничего другого, как "переоценить все ценности", чтобы с замечательной точностью бить по самой головке гвоздя - вместо того чтобы гвоздем бить по моей голове... Тем не менее я попытаюсь дать объяснение. - В конце концов никто не может из вещей, в том числе и из книг, узнать больше, чем он уже знает. Если для какого-нибудь переживания нет доступа, для него нет уже и уха. Представим себе крайний случай: допустим, что книга говорит о переживаниях, которые лежат совершенно вне возможности частых или даже редких опытов - что она является первым словом для нового ряда опытов. В этом случае ничего нельзя уже и слышать, благодаря тому акустическому заблуждению, будто там, где ничего не слышно, ничего и нет... Это и есть мой средний опыт и, если угодно, оригинальность моего опыта. Кто думал, что он что-нибудь понимал у меня, тот делал из меня нечто подобное своему образу, нечто нередко противоположное мне, например "идеалиста"; кто ничего не понимал у меня, тот отрицал, что со мной можно и вообще считаться. - Слово "сверхчеловек" для обозначения типа самой высокой удачливости, в противоположность "современным" людям, "добрым" людям, христианам и прочим нигилистам - слово, которое в устах Заратустры, истребителя морали, вызывает множество толков, - почти всюду было понято с полной невинностью в смысле ценностей, противоположных тем, которые были представлены в образе Заратустры: я хочу сказать, как "идеалистический" тип высшей породы людей, как "полусвятой", как "полугений"... Другой ученый рогатый скот заподозрил меня из-за него в дарвинизме: в нем находили даже столь зло отвергнутый мною "культ героев" Карлейля, этого крупного фальшивомонетчика знания и воли. Когда же я шептал на ухо, что скорее в нем можно видеть Чезаре Борджа, чем Парсифаля, то не верили своим ушам. - Надо простить мне, что я отношусь без всякого любопытства к отзывам о моих книгах, особенно в газетах. Мои друзья, мои издатели знают об этом и никогда не говорят мне ни о чем подобном. В одном только особом случае я увидел однажды воочию все грехи, совершенные в отношении к одной-единственной книге - дело касалось "По ту сторону добра и зла"; я многое мог бы рассказать об этом. Мыслимое ли дело, что "Nationalzeitung" - прусская газета, к сведению моих иностранных читателей, - сам я, с позволения, читаю только Journal des Debats - дошла совершенно серьезно до понимания этой книги как "знамения времени", как бравой правой юнкерской философии, которой недоставало лишь мужества "Kreuzzeitung"?..

Это было сказано для немцев: ибо всюду, кроме Германии, есть у меня читатели - сплошь изысканные, испытанные умы, характеры, воспитанные в высоких положениях и обязанностях; есть среди моих читателей даже действительные гении. В Вене, в Санкт-Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке - везде открыли меня: меня не открыли только в плоскомании Европы, в Германии... И я должен признаться, что меня больше радуют те, кто меня не читает, кто никогда не слышал ни моего имени, ни слова "философия"; но куда бы я ни пришел, например, здесь, в Турине, лицо каждого при взгляде на меня проясняется и добреет. Что мне до сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокаиваются, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Надо быть до такой степени философом... Недаром поляков зовут французами среди славян. Очаровательная русская женщина ни на одну минуту не ошибется в моем происхождении. Мне не удастся стать торжественным, самое большее - я прихожу в смущение... По-немецки думать, по-немецки чувствовать - я могу всё, но это свыше моих сил... Мой старый учитель Ричль утверждал даже, что свои филологические исследования я конципирую, как парижский *romancier* - абсурдно увлекательно. Даже в Париже изумлялись по поводу "*toutes mes audaces et finesses*" - выражение господина Тэна; я боюсь, что вплоть до высших форм дифирамба можно найти у меня примесь той соли, которая никогда не бывает глупой - "немецкой": *esprit*... Я не могу иначе. Помогите мне, Боже! Аминь. - Мы знаем все, некоторые даже из опыта, что такое длинноухое животное. Ну что ж, я смею утверждать, что у меня самые маленькие уши. Это немало интересует бабенок - мне кажется, они чувствуют, что я их лучше понимаю?... Я *Antiocél rag excellence*, и благодаря этому я всемирно-историческое чудовище, - по-гречески, и не только по-гречески, я Антихрист...

3

Я несколько знаю свои преимущества, как писателя; отдельные случаи доказали мне, как сильно "портит" вкус привычка к моим сочинениям. Просто не переносишь других книг, особенно философских. Это несравненное отличие - войти в столь благородный и утонченный мир: для этого отнюдь не обязательно быть немцем; в конце концов это отличие, которое надо заслужить. Но кто приближается ко мне высотой хотения, тот переживает при этом истинные экстазы познания: ибо я прихожу с высот, которых не достигала ни одна птица, я знаю бездны, куда не ступала ни одна нога. Мне говорили, что нельзя оторваться ни от одной из моих книг, - я нарушаю даже ночной покой... Нет более гордых и вместе с тем более рафинированных книг: они достигают порою наивысшего, что достижимо на земле, - цинизма; для завоевания их нужны как самые нежные пальцы, так и самые храбрые кулаки. Всякая дряхлость души, даже всякое расстройство желудка устранены из них раз и навсегда: никаких нервов, только веселое брюхо. Не только бедность и затхлый запах души устранены из них, но в еще большей степени все трусливое, нечистоплотное, скрытное и мстительное в наших внутренностях: одно мое слово гонит наружу все дурные инстинкты. Среди моих знакомых есть множество подопытных животных, на которых я изучаю различную, весьма поучительно различную реакцию на мои сочинения. Кто и знать ничего не хочет об их содержании, например мои так называемые друзья, тот становится при этом "безличным": меня поздравляют с тем, что я снова зашел "так далеко", - говорят также об успехе в смысле большей ясности тона... Совершенно порочные "умы", "прекрасные души", изолгавшиеся дотла, совсем не знают, что им делать с этими книгами, -

следовательно, они считают их ниже себя, прекрасная последовательность всех "прекрасных душ". Рогатый скот среди моих знакомых, немцы, с вашего позволения, дают понять, что не всегда разделяют моего мнения, но все же иногда... Это я слышал даже о Заратустре... Точно так же всякий "феминизм" в человеке, даже в мужчине, является для меня закрытыми воротами: никогда не войдет он в этот лабиринт дерзновенных познаний. Никогда не надо щадить себя, жесткость должна стать привычкой, чтобы среди сплошных жестких истин быть веселым и бодрым. Когда я рисую себе образ совершенного читателя, он всегда представляется мне чудовищем смелости и любопытства, кроме того, еще чем-то гибким, хитрым, осторожным, прирожденным искателем приключений и открывателем. В конце концов я не мог бы сказать лучше Заратустры - к нему одному в сущности я и обращаюсь: кому захочет он рассказать свою загадку?

Вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по страшным морям, -

вам, опьяненным загадками, любителям сумерек, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине:

- ибо вы не хотите нащупывать нить трусливой рукой и, где можете вы угадать, там ненавидите вы делать выводы...

4

Вместе с тем я делаю ещё общее замечание о моём искусстве стиля. Поделиться состоянием, внутренней напряжённостью пафоса путём знаков, включая сюда и темп этих знаков, - в этом состоит смысл всякого стиля; и, ввиду того что множество внутренних состояний является моей исключительностью, у меня есть много возможностей для стиля - самое многообразное искусство стиля вообще, каким когда-либо наделён был человек. Хорош всякий стиль, который действительно передаёт внутреннее состояние, который не ошибается в знаках, в темпе знаков, в жестах - все законы периода суть искусство жеста. Мой инстинкт бывает здесь безошибочен. - Хороший стиль сам по себе - чистое безумие, сплошной "идеализм": всё равно что "прекрасное само по себе" или "доброе само по себе" или "вещь сама по себе"... При том непременно условии, что есть уши - уши, способные на подобный пафос и достойные его, - что нет недостатка в тех, с кем позволительно делиться. - Мой Заратустра, например, ещё ищет их - ах! он будет ещё долго искать их! - Нужно быть достойным того, чтобы испытывать его... А до тех пор не будет никого, кто бы понял искусство, здесь расточенное: никогда и никто не расточал ещё столько новых, неслыханных, поистине впервые здесь созданных средств искусства. Что нечто подобное было возможно именно на немецком языке - это ещё нужно было доказать: я и сам раньше решительно отрицал бы это. До меня не знали, что можно сделать из немецкого языка, что можно сделать из языка вообще. Искусство великого ритма, великий стиль периодичности для выражения огромного восхождения и нисхождения высокой, сверхчеловеческой страсти, был впервые открыт мною; дифирамбом "Семь печатей", которым завершается третья, последняя часть Заратустры, я поднялся на тысячу миль надо всем, что когда-либо называлось поэзией.

5

- Что в моих сочинениях говорит не знающий себе равных психолог, это, быть может, есть первое убеждение, к которому приходит хороший читатель - читатель, которого я заслуживаю, который читает меня так, как добрые старые

филологи читали своего Горация. Положения, в отношении которых был в сущности согласен весь мир - не говоря уже о всемирных философах, моралистах и о прочих пустых горшках и кочанах, - у меня являются как наивности заблуждения: такова, например, вера в то, что "эгоистическое" и "неэгоистическое" суть противоположности, тогда как само его есть только "высшее мошенничество", "идеал"... Нет ни эгоистических, ни неэгоистических поступков: оба понятия суть психологическая бессмыслица. Или положение: "человек стремится к счастью"... Или положение: "счастье есть награда добродетели"... Или положение: "радость и страдание противоположны". Цирцея человечества, мораль, извратила - обморалила - все psychologica до глубочайших основ, до той ужасной бессмыслицы, будто любовь есть нечто "неэгоистическое"... Надо крепко сидеть на себе, надо смело стоять на обеих своих ногах, иначе совсем нельзя любить. Это в конце концов слишком хорошо знают бабёнки: они ни черта не беспокоятся о бескорыстных, просто объективных мужчинах... Могу ли я при этом высказать предположение, что я знаю бабёнок? Это принадлежит к моему дионисическому приданому. Кто знает? может, я первый психолог Вечно-Женственного. Они все любят меня - это старая история - не считая неудачных бабёнок, "эмансипированных", лишённых способности деторождения. - К счастью, я не намерен отдать себя на растерзание: совершенная женщина терзает, когда она любит... Знаю я этих прелестных вакханок... О, что это за опасное, скользкое, подземное маленькое хищное животное! И столь сладкое при этом!.. Маленькая женщина, ищущая мщенья, способна опрокинуть даже судьбу. - Женщина несравненно злее мужчины и умнее его; доброта в женщине есть уже форма вырождения... Все так называемые "прекрасные души" страдают в своей основе каким-нибудь физиологическим недостатком, - я говорю, не все, иначе я стал бы меди-циником. Борьба за равные права есть даже симптом болезни: всякий врач знает это. - Женщина, чем больше она женщина, обороняется руками и ногами от прав вообще: ведь естественное состояние, вечная война полов, отводит ей первое место. Есть ли уши для моего определения любви? оно является единственным достойным философа. Любовь - в своих средствах война, в своей основе смертельная ненависть полов. - Слышали ли вы мой ответ на вопрос, как излечивают женщину - "освобождают" её? Ей делают ребёнка. Женщине нужен ребёнок, мужчина всегда лишь средство: так говорил Заратустра. - "Эмансипация женщины" - это инстинктивная ненависть неудачной, т. е. не приспособленной к деторождению, женщины к женщине удачной - борьба с "мужщиной" есть только средство, предлог, тактика. Они хотят, возвышая себя как "женщину в себе", как "высшую женщину", как "идеалистку", понизить общий уровень женщины; нет для этого более верного средства, как гимназическое воспитание, штаны и политические права голосующего скота. В сущности, эмансипированные женщины суть анархистки в мире "Вечно-Женственного", неудачницы, у которых скрытым инстинктом является мщенье... Целое поколение хитрого "идеализма" - который, впрочем, встречается и у мужчин, например у Генрика Ибсена, этой типичной старой девы, - преследует целью отравление чистой совести, природы в половой любви... И для того, чтобы не оставалось никакого сомнения в моём столь же честном, сколь суровом взгляде на этот вопрос, я приведу ещё одно положение из своего морального кодекса против порока: под словом "порок" я борюсь со всякого рода противоестественностью или, если любят красивые слова, с идеализмом. Это положение означает: "проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности. Всякое презрение половой жизни, всякое осквернение её понятием "нечистого" есть преступление перед жизнью, - есть истинный грех

против святого духа жизни".

6

Чтобы дать понятие о себе как психологе, привожу любопытную страницу психологии из "По ту сторону добра и зла" - я воспеваю, впрочем, какие-либо предположения относительно того, кого я описываю в этом месте. "Гений сердца, свойственный тому великому Таинственному, тому богу-искусителю и прирожденному крысолову совестей, чей голос способен проникать в самую преисподнюю каждой души, кто не скажет слова, не бросит взгляда без скрытого намерения соблазнить, кто обладает мастерским умением казаться - и не тем, что он есть, а тем, что может побудить его последователей все более и более приближаться к нему, проникаться все более и более глубоким и сильным влечением следовать за ним, - гений сердца, который заставляет все громкое и самодовольное молчать и прислушиваться, который полирует шероховатые души, давая им отведать нового желания - быть неподвижными как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо, - гений сердца, который научает неловкую и слишком торопливую руку брать медленнее и нежнее; который угадывает скрытое и забытое сокровище, каплю благодати и сладостной гениальности под темным толстым льдом, и является волшебным жезлом для каждой крупинцы золота, издавна погребенной в своей темнице под илом и песком; гений сердца, после соприкосновения с которым каждый уходит от него богаче, но не осыпанный милостями и пораженный неожиданностью, не осчастливленный и подавленный чужими благами, а богаче самим собою, новее для самого себя, чем прежде, раскрывшийся, обвеянный теплым ветром, который подслушал все его тайны, менее уверенный, быть может, более нежный, хрупкий, надломленный, но полный надежд, которым еще нет названья, полный новых желаний и стремлений с их приливами и отливами..."

РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ

Чтобы быть справедливым к "Рождению трагедии" (1872), надо забыть о некоторых вещах. Эта книга влияла и даже очаровывала тем, что было в ней неудачного, - своим применением к вагнерщине, как если бы последняя была симптомом восхождения. Именно поэтому это сочинение было событием в жизни Вагнера: лишь с тех пор стали связывать с именем Вагнера большие надежды. Еще и теперь напоминают мне иногда при представлении Парсифаля, что собственно на моей совести лежит происхождение столь высокого мнения о культурной ценности этого движения. - Я неоднократно встречал цитирование книги как "Возрождения трагедии из духа музыки": были уши только для новой формулы искусства, цели, задачи Вагнера - сверх этого не слышали всего, что эта книга скрывала в основе своей ценного. "Эллингство и пессимизм": это было бы более недвусмысленным заглавием - именно, как первый урок того, каким образом греки отделялись от пессимизма, - чем они преодолевали его... Трагедия и есть доказательство, что греки не были пессимистами. Шопенгауэр ошибся здесь, как он ошибался во всем. - Взятая в руки с некоторой нейтральностью, "Рождение трагедии" выглядит весьма несвоевременным: и во сне нельзя было бы представить, что оно начато под гром битвы при Верте. Я продумал эту проблему под стенами Метца в холодные сентябрьские ночи, среди обязанностей санитарной службы; скорее можно было бы вообразить, что это сочинение старше пятьюдесятью годами. Оно политически индифферентно - "не

по-немецки", скажут теперь, - от него разит неприлично гегелевским духом, оно только в нескольких формулах отдает трупным запахом Шопенгауэра. "Идея" - противоположность дионисического и аполлонического - перемещенная в метафизику; сама история, как развитие этой идеи; упраздненная в трагедии противоположность единству, - при подобной оптике все эти вещи, еще никогда не смотревшие друг другу в лицо, теперь были внезапно противопоставлены одна другой, одна через другую освещены и поняты... Например, опера и революция... Два решительных новшества книги составляют, во-первых, толкование дионисического феномена у греков - оно дает его первую психологию и видит в нем единый корень всего греческого искусства. - Во-вторых, толкование сократизма: Сократ, узанный впервые как орудие греческого разложения, как типичный decadent. "Разумность" против инстинкта. "Разумность" любой ценой, как опасная, подрывающая жизнь сила! Глубокое враждебное умолчание христианства на протяжении всей книги. Оно ни аполлонично, ни дионисично; оно отрицает все эстетические ценности - единственные ценности, которые признает "Рождение трагедии": оно в глубочайшем смысле нигилистично, тогда как в дионисическом символе достигнут самый крайний предел утверждения. В то же время здесь есть намек на христианских священников как на "коварный род карликов", "подпольщиков"...

2

Это начало замечательно сверх всякой меры. Для своего наиболее сокровенного опыта я открыл единственное иносказание и подобие, которым обладает история, - именно этим я первый постиг чудесный феномен дионисического. Точно так же фактом признания decadent в Сократе дано было вполне недвусмысленное доказательство того, сколь мало угрожает уверенности моей психологической хватки опасность со стороны какой-нибудь моральной идиосинкразии, - сама мораль, как симптом декаданса, есть новшество, есть единственная и первостепенная вещь в истории познания. Как высоко поднялся я в этом отношении над жалкой, плоской болтовней на тему: оптимизм contra пессимизм! - Я впервые узрел истинную противоположность - вырождающийся инстинкт, обращенный с подземной мстительностью против жизни (христианство, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия Платона, весь идеализм, как его типичные формы), и рожденная из избытка, из преизбытка формула высшего утверждения, утверждения без ограничений, утверждения даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании... Это последнее, самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, оно также и самое глубокое, наиболее строго утверждённое и подтверждённое истиной и наукой. Ничто существующее не должно быть устранено, нет ничего лишнего - отвергаемые христианами и прочими нигилистами стороны существования занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем то, что мог бы одобрить, назвать хорошим инстинкт decadence. Чтобы постичь это, нужно мужество и, как его условие, избыток силы: ибо, насколько мужество может отважиться на движение вперёд, настолько по этой мерке силы приближаемся и мы к истине. Познание, утверждение реальности для сильного есть такая же необходимость, как для слабого, под давлением слабости, трусость и бегство от реальности - "идеал"... Слабые не вольны познавать: decadents нуждаются во лжи - она составляет одно из условий их существования. - Кто не только понимает слово "дионисическое", но понимает и себя в этом слове, тому не нужны опровержения Платона, или христианства, или

Шопенгауэра, - он обоняет разложение...

3

В какой мере я нашёл понятие "трагического", конечное познание того, что такое психология трагедии, это выражено мною ещё в Сумерках идолов (II 1032) [II 636]: "Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых её проблемах; воля к жизни, ликующая в жертве своими высшими типами собственной неисчерпаемости, - вот что назвал я дионисическим, вот в чём угадал я мост к психологии трагического поэта. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы, очиститься от опасного аффекта бурным его разряжением - так понимал это Аристотель, - а для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, быть самому вечной радостью становления, - той радостью, которая заключает в себе также и радость уничтожения..." В этом смысле я имею право понимать самого себя как первого трагического философа - стало быть, как самую крайнюю противоположность и антипода всякого пессимистического философа. До меня не существовало этого превращения дионисического состояния в философский пафос: недоставало трагической мудрости - тщетно искал я её признаков даже у великих греческих философов за два века до Сократа. Сомнение оставил во мне Гераклит, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. Подтверждение исчезновения и уничтожения, отличительное для дионисической философии, подтверждение противоположности и войны, становление, при радикальном устранении самого понятия "бытие" - в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор было помыслено. Учение о "вечном возвращении", стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, - это учение Заратустры могло бы однажды уже существовать у Гераклита. Следы его есть по крайней мере у стоиков, которые унаследовали от Гераклита почти все свои основные представления.

4

Из этого сочинения говорит чудовищная надежда. В конце концов у меня нет никакого основания отказываться от надежды на дионисическое будущее музыки. Бросим взгляд на столетие вперёд, предположим случай, что моё покушение на два тысячелетия противоестественности и человеческого позора будет иметь успех. Та новая партия жизни, которая возьмёт в свои руки величайшую из всех задач, более высокое воспитание человечества, и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает возможным на земле преизбыток жизни, из которого должно снова вырасти дионисическое состояние. Я обещаю трагический век: высшее искусство в утверждении жизни, трагедия, возродится, когда человечество, без страдания, оставит позади себя сознание о самых жестоких, но и самых необходимых войнах... Психолог мог бы еще добавить, что то, что я слышал в юные годы в вагнеровской музыке, не имеет вообще ничего общего с Вагнером; что когда я описывал дионисическую музыку, я описывал то, что я слышал, - что я инстинктивно должен был перенести и перевоплотить в тот новый дух, который я носил в себе. Доказательство тому - настолько сильное, насколько доказательство может быть сильным, - есть мое сочинение "Вагнер в Байрейте": во всех психологически-решающих местах речь идет только обо мне - можно без всяких предосторожностей поставить мое имя или слово "Заратустра" там, где

текст дает слово: Вагнер. Весь образ дифирамбического художника есть образ предсуществующего поэта Заратустры, зарисованный с величайшей глубиной, - без малейшего касания вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие; он не признал себя в моем сочинении. - Равным образом "идея Байрейта" превратилась в нечто такое, что не окажется загадочным понятием для знатоков моего Заратустры: в тот великий полдень, когда наиболее избранные посвящают себя величайшей из всех задач, - кто знает? призрак праздника, который я еще переживу... Пафос первых страниц есть всемирно-исторический пафос; взгляд, о котором идет речь на седьмой странице, есть доподлинный взгляд Заратустры; Вагнер, Байрейт, все маленькое немецкое убожество суть облако, в котором отражается бесконечная фатаморгана будущего. Даже психологически все отличительные черты моей собственной натуры перенесены на натуру Вагнера - совместность самых светлых и самых роковых сил, воля к власти, какой никогда еще не обладал человек, безоглядная смелость в сфере духа, неограниченная сила к изучению, без того чтобы ею подавлялась воля к действию. Всё в этом сочинении возведено наперед: близость возвращения греческого духа, необходимость анти-Александров, которые снова завяжут однажды разрубленный гордиев узел греческой культуры... Пусть вслушаются во всемирно-исторические слова, которые вводят (I 34 сл.) понятие "трагического чувства": в этом сочинении есть только всемирно-исторические слова. Это самая странная "объективность", какая только может существовать: абсолютная уверенность в том, что я собою представляю, проецировалась на любую случайную реальность, - истина обо мне говорила из полной страха глубины. На стр. 55 описан и предвосхищен с поразительной надежностью стиль Заратустры; и никогда не найдут более великолепного выражения для события Заратустра, для этого акта чудовищного очищения и освящения человечества, чем на стр. 41-44.

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ

Четыре Несвоевременных являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был "Гансом-мечтателем", что мне доставляет удовольствие владеть шпагой, - может быть, также и то, что у меня рискованно ловкое запястье. Первое нападение (1873) было на немецкую культуру, на которую я уже тогда смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное "общественное мнение". Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу ее победы над Францией... Второе Несвоевременное (1874) освещает все опасное, все подтачивающее и отравляющее жизнь в наших приемах научной работы: жизнь, больную от этой обесчеловеченной шестеренки и механизма, от "безличности" работника, от ложной экономии "разделения труда". Утрачивается цель - культура: средства - современные научные приемы - низводят на уровень варварства... В этом исследовании впервые признается болезнью, типическим признаком упадка "историческое чувство", которым гордится этот век. - В третьем и четвертом Несвоевременном, как указание к высшему пониманию культуры и к восстановлению понятия "культура", выставлены два образа суровейшего эгоизма и самодисциплины, несвоевременные типы *par excellence*, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось "Империей", "образованием", "христианством", "Бисмарком", "успехом", - Шопенгауэр и Вагнер, или, одним словом, Ницше...

Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Шум, им вызванный, был во всех отношениях великолепен. Я коснулся уязвимого места победоносной нации - что ее победа не культурное событие, а возможно, возможно, нечто совсем другое... Ответы приходили со всех сторон, и отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я сделал посмешищем как тип филистера немецкой культуры и *satisfait*, короче, как автора его распивочного евангелия о "старой и новой вере" (- слово "филистер культуры" перешло из моей книги в разговорную речь). Эти старые друзья, вюртембержцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я нашел смешным их чудо, их Штрауса, отвечали мне так честно и грубо, как только мог я желать; прусские возражения были умнее - в них было больше "берлинской хмели". Самое неприличное выкинул один лейпцигский листок, обесславленные "Grenzboten"; мне стоило больших усилий удержать возмущенных базельцев от решительных шагов. Безусловно высказались за меня лишь несколько старых господ, по различным и отчасти необъяснимым основаниям. Между ними был Эвальд из Гёттингена, давший понять, что мое нападение оказалось смертельным для Штрауса. Точно так же высказался старый гегельянец Бруно Бауэр, в котором я имел с тех пор одного из самых внимательных моих читателей. Он любил, в последние годы своей жизни, ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу господину фон Трейчке, у кого именно мог бы он получить сведения об утраченном им понятии "культура". Самое глубокомысленное и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе было высказано старым учеником философа Баадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По моему сочинению он предвидел для меня великое назначение - вызвать род кризиса и дать наилучшее разрешение проблемы атеизма; он угадывал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. - Лучше всего была выслушана и с наибольшей горечью воспринята чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обыкновенно столь мягкого Карла Гиллебранда, этого последнего немецкого гуманиста, умевшего владеть пером. Раньше его статью читали в "Augsburger Zeitung", а теперь ее можно прочесть, в несколько более осторожной форме, в собрании его сочинений. Здесь моя книга представлена как событие, как поворотный пункт, как первое самосознание, как лучшее знамение, как действительное возвращение немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Гиллебранд был полон высоких похвал форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в различении личности и вещи: он отмечал его как лучшее полемическое сочинение, написанное по-немецки - именно в столь опасном для немцев искусстве, как полемика, которое не следует им рекомендовать. Безусловно утверждая, даже обостряя то, что я осмелился сказать о порче языка в Германии (теперь они разыгрывают пуристов и не могут уже составить предложения), высказывая такое же презрение к "первым писателям" этой нации, он кончил выражением своего удивления моему мужеству, тому "высшему мужеству, которое приводит любимцев народа на скамью подсудимых"... Последующее влияние этого сочинения совершенно неопределимо в моей жизни. Никто с тех пор не спорил со мною. Теперь все молчат обо мне, со мною обходятся в Германии с угрюмой осторожностью: в течение целых лет я пользовался безусловной свободой слова, для которой ни у кого, меньше всего в "Империи", нет достаточно свободной руки. Мой рай покоится "под сенью моего меча"... В сущности я применил правило Стендаля: он советует

ознаменовать свое вступление в общество дуэлью. И какого я выбрал себе противника! первого немецкого вольнодумца!.. На деле этим был впервые выражен совсем новый род свободомыслия; до сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская *species "libres penseurs"*. С ними, как с неисправимыми тупицами и шутами "современных идей", нахожусь я даже в более глубоком разногласии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему "улучшить" человечество, по собственному образцу; они вели бы непримиримую войну против всего, в чем выражается мое Я, чего я хочу, если предположить, что они это поняли бы, - они еще верят совокупно в "идеал"... Я первый имморалист.

3

Я не хотел бы утверждать, что отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера Несвоевременные могут особенно служить к уяснению или хотя бы только к психологической постановке вопроса об обоих случаях - исключая, по справедливости, частности. Так, например, с глубокой уверенностью-инстинктом здесь обозначен главный элемент в натуре Вагнера, дарование актера, извлекающее из своих средств и намерений свои собственные следствия. В сущности, вовсе не психологией хотел я заниматься в этих сочинениях: не сравнивая ни с чем проблема воспитания, новое понятие самодисциплины, самозащиты до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам еще требовали своего первого выражения. В общем я притянул за волосы два знаменитых и еще вовсе не установленных типа, как притягивают за волосы всякую случайность, дабы выразить нечто, дабы располагать несколькими лишними формулами, знаками и средствами выражения. Это отмечено напоследок с особой тревожной прозорливостью на стр. 350 третьего Несвоевременного. Так Платон пользовался Сократом, как семиотикой для Платона. - Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния, свидетельством которых являются эти сочинения, я не стану отрицать, что в сущности они говорят исключительно обо мне. Сочинение "Вагнер в Байрейте" есть видение моего будущего; напротив, в "Шопенгауэре как воспитателе" вписана моя внутренняя история, мое становление. Прежде всего мой обет!.. То, чем являюсь я теперь, то, где нахожусь я теперь, - на высоте, где я говорю уже не словами, а молниями, - о, как далек я был тогда еще от этого! - Но я видел землю - я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности - и успехе! Этот великий покой в обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обещанием! - Здесь каждое слово пережито, глубоко, интимно; нет недостатка в самом болезненном чувстве, есть слова прямо кровоточащие. Но ветер великой свободы проносится надо всем; сама рана не действует как возражение. - О том, как понимаю я философа - как страшное взрывчатое вещество, перед которым все пребывает в опасности, - как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое включает в себя даже какого-нибудь Канта, не говоря уже об академических "жвачных животных" и прочих профессорах философии: на этот счет дает мое сочинение бесценный урок, даже если, в сущности, речь здесь идет не о "Шопенгауэре как воспитателе", а о его противоположности - "Ницше как воспитателе". - Если принять во внимание, что моим ремеслом было тогда ремесло ученого и что я, пожалуй, хорошо понимал свое ремесло, то представится не лишенный значения суровый образец психологии ученого, внезапно выдвинутый в этом сочинении: он выражает чувство дистанции, глубокую уверенность в том, что может быть у меня задачей, что только

средством, отдыхом и побочным делом. Моя мудрость выражается в том, чтобы быть многим и многосущим для умения стать единым - для умения прийти к единому. Я должен был еще некоторое время оставаться ученым.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

С двумя продолжениями

"Человеческое, слишком человеческое" есть памятник кризиса. Оно называется книгой для свободных умов: почти каждая фраза в нём выражает победу - с этой книгой я освободился от всего не присущего моей натуре. Не присущ мне идеализм - заглавие говорит: "где вы видите идеальные вещи, там вижу я - человеческое, ах, только слишком человеческое!..." Я лучше знаю человека... Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово "свободный ум": освободившийся ум, который снова овладел самим собою. Тон, тембр голоса совершенно изменился: книгу найдут умной, холодной, при случае даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность аристократического вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти Вольтера как бы извиняет издание книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего *grandseigneur* духа: так же, как и я. - Имя Вольтера на моем сочинении - это был действительно шаг вперед - ко мне... Если присмотреться ближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, где идеал чувствует себя дома, где находятся его подземелья и его последнее убежище. С факелом в руках, дающим отнюдь не "дрожащий от факела" свет, освещается с режущей яркостью этот подземный мир идеала. Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов - перечисленное было бы еще "идеализмом". Одно заблуждение за другим выносятся на лед, идеал не опровергается - он замерзает... Здесь, например, замерзает "гений"; немного дальше замерзает "святой"; под толстым слоем льда замерзает "герой"; в конце замерзает "вера", так называемое "убеждение", даже "сострадание" значительно остывает - почти всюду замерзает "вещь в себе"...

2

Возникновение этой книги относится к неделям первых байрейтских фестивалей; глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения. Кто имеет понятие о том, какие видения уже тогда пробежали по моему пути, может угадать, что творилось в моей душе, когда я однажды проснулся в Байрейте. Совсем как если бы я грезил... Где же я был? Я ничего не узнавал, я едва узнавал Вагнера. Тщетно перебирал я свои воспоминания. Трибшен - далекий остров блаженных: нет ни тени сходства. Несравненные дни закладки, маленькая группа людей, которые были на своем месте и праздновали эту закладку и вовсе не нуждались в пальцах для нежных вещей: нет ни тени сходства. Что случилось? - Вагнера перевели на немецкий язык! Вагнерианец стал господином над Вагнером! Немецкое искусство! немецкий маэстро! немецкое пиво!.. Мы, знающие слишком хорошо, к каким утонченным артистам, к какому космополитизму вкуса обращается искусство Вагнера, мы были вне себя, найдя Вагнера увешанным немецкими "добродетелями". - Я думаю, что знаю вагнерианца, я "пережил" три поколения, от покойного Бренделя, путавшего Вагнера с Гегелем, до "идеалистов" Байрейтских листков, путавших

Вагнера с собою, - я слышал всякого рода исповеди "прекрасных душ" о Вагнере. Полцарства за одно осмысленное слово! Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом! Ноль, Поль, Коль - грациозные in infinitum! Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка, даже в антисемите. - Бедный Вагнер! Куда он попал! - Если бы он попал еще к свиньям! А то к немцам!.. В конце концов следовало бы, в назидание потомству, сделать чучело истинного байрейтца или, еще лучше, посадить его в спирт, ибо именно спиритуальности ему и недостает, - с надписью: так выглядел "дух", на котором была основана "Империя"... Довольно, я уехал среди празднеств на несколько недель, совершенно внезапно, несмотря на то, что одна очаровательная парижанка пробовала меня утешить; я извинился перед Вагнером только фаталистической телеграммой. В Клингенбрунне, глубоко затерянном в лесах местечке Богемии, носил я в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал время от времени в свою записную книжку под общим названием "Сошник" тезисы, сплошные жесткие psychologica, которые, может быть, встречаются еще раз в "Человеческом, слишком человеческом".

3

То, что тогда во мне решилось, был не только разрыв с Вагнером - я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называйся они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. Нетерпение к себе охватило меня; я увидел, что настала пора сознать себя. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено - как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Я стыдился этой ложной скромности... Десять лет за плечами, когда питание моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Тщательно, с больными глазами пробираться среди античных стихотворцев - вот до чего я дошел! - С сожалением видел я себя вконец исхудавшим, вконец изголодавшимся: реальностей вовсе не было в моем знании, а "идеальности" ни черта не стоили! - Поистине, жгучая жажда охватила меня - с этих пор я действительно не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук, - даже к собственно историческим занятиям я вернулся только тогда, когда меня повелительно принудила к этому моя задача. Тогда же я впервые угадал связь между избранной вопреки инстинкту деятельностью, так называемым "призванием", к которому я менее всего был призван, - и потребностью в заглушении чувства пустоты и голода наркотическим искусством - например, вагнеровским искусством. Осторожно оглядевшись вокруг себя, я открыл, что то же бедствие постигает большинство молодых людей: одна противоестественность буквально вынуждает другую. В Германии, в "Империи", чтобы говорить недвусмысленно, слишком многие осуждены принять несвоевременно какое-нибудь решение, а потом, под неустрашимым бременем, зачахнуть... Эти нуждаются в Вагнере как в опиуме - они забываются, они избавляются от себя на мгновение... Что говорю я! на пять, на шесть часов!

4

Тогда неумолимо восстал мой инстинкт против дальнейших уступок, против следования за другими, против смешения себя с другими. Любой род жизни, самые неблагоприятные условия, болезнь, бедность - все казалось мне

предпочтительнее того недостойного "бескорыстия", в которое я поначалу попал по незнанию, по молодости и в котором позднее застрял из трусости, из так называемого "чувства долга". - Здесь, самым изумительным образом, и притом в самое нужное время, пришло мне на помощь дурное наследство со стороны моего отца, - в сущности, предопределение к ранней смерти. Болезнь медленно высвобождала меня: она избавила меня от всякого разрыва, всякого насильственного и неприличного шага. Я не утратил тогда ничего доброжелательства и еще приобрел много нового. Болезнь дала мне также право на совершенный переворот во всех моих привычках; она позволила, она приказала мне забвение; она одарила меня принуждением к бездействию, к праздности, к выжиданию и терпению... Но ведь это и значит думать!.. Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству, по-немецки: филологии; я был избавлен от "книги", я годами ничего уже не читал - величайшее благодеяние, какое я себе когда-либо оказывал! - Глубоко скрытое Само, как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей необходимостью слушать другие Само (- а ведь это и значит читать!), просыпалось медленно, робко, колеблясь, - но наконец оно заговорило. Никогда не находил я столько счастья в себе, как в самые болезненные, самые страдальческие времена моей жизни: стоит только взглянуть на "Утреннюю зарю" или на "Странника и его тень", чтобы понять, чем было это "возвращение к себе": самым высшим родом выздоровления!... Другое только следовало из него.

5

Человеческое, слишком человеческое, этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесённому в меня "мошенничеству высшего порядка", "идеализму", "прекрасному чувству" и прочим женственностям, - было во всем существенном написано в Сорренто; оно получило свое заключение, свою окончательную форму зимою, проведенною в Базеле, в несравненно менее благоприятных условиях, чем условия Сорренто. В сущности, эта книга лежит на совести у господина Петера Гаста, тогда студента Базельского университета, очень преданного мне. Я диктовал, с обвязанной и больной головой, он писал, он также исправлял - он был в сущности писателем, а я только автором. Когда в руках моих была законченная вконец книга - к глубокому удивлению тяжелобольного, - я послал, между прочим, два экземпляра и в Байрейт. Каким-то чудом смысла, проявившегося в случайности, до меня в то же время дошел прекрасный экземпляр текста Парсифаля с посвящением Вагнера мне - "моему дорогому другу Фридриху Ницше, Рихард Вагнер, церковный советник". - Это было крещение двух книг - мне казалось, будто я слышал при этом зловещий звук. Не звучало ли это так, как если бы скрестились две шпаги?.. Во всяком случае мы оба так именно и восприняли это: ибо мы оба молчали. - К тому времени появились первые Байрейтские листки: я понял, чему настала пора. - Невероятно! Вагнер стал набожным...

6

Что я думал тогда (1876) о себе, с какой чудовищной уверенностью я держал в руках свою задачу и то, что было в ней всемирно-исторического, - об этом свидетельствует вся книга, и прежде всего одно очень выразительное в ней место: с инстинктивной во мне хитростью я и здесь вновь обошел словечко Я; но на сей раз не Шопенгауэра или Вагнера, а одного из моих друзей,

превосходного доктора Пауля Рэ я озарил всемирно-исторической славой - к счастью, он оказался слишком тонким животным, чтобы... Другие были менее хитры: безнадежных среди моих читателей, например типичного немецкого профессора, я всегда узнавал по тому, что они, основываясь на этом месте, считали себя обязанными понимать всю книгу как высший рэализм. В действительности она заключала противоречие лишь пяти-шести тезисам моего друга: об этом можно прочесть в предисловии к "Генеалогии морали". - Это место гласит: каково же то главное положение, к которому пришел один из самых сильных и холодных мыслителей, автор книги "О происхождении моральных чувств" (lisez: Ницше, первый имморалист), с помощью своего острого и пронизательного анализа человеческого поведения? "Моральный человек стоит не ближе к умопостигаемому миру, чем человек физический, - ибо не существует умопостигаемого мира"... Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания (lisez: переоценки всех ценностей), может некогда в будущем - 1890! - послужить секирой, которая будет положена у корней "метафизической потребности" человечества, - на благо или проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? Но во всяком случае, как положение, чреватое важнейшими последствиями, вместе плодотворное и ужасное и вззирающее на мир тем двойственным взглядом, который бывает присущ всякому великому познанию...

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ

Мысли о морали как предрассудке

Этой книгой начинается мой поход против морали. Не то чтобы в ней, хотя бы едва, чувствовался запах пороха - скорее в ней распознают совсем другие, и гораздо более нежные, запахи, особенно если предположить некоторую тонкость ноздрей. Ни тяжелой, ни даже легкой артиллерии; если действие книги отрицательное, то тем менее отрицательны ее средства, из которых действие следует как заключение, а не как пушечный выстрел. Что с книгой расстанутся с боязливой осторожностью ко всему тому, что до сих пор почиталось и даже боготворилось под именем морали, это не находится в противоречии с тем, что во всей книге не встречается ни одного отрицательного слова, ни одного нападения, ни одной злости, - скорее она лежит на солнце, круглая, счастливая, похожая на морского зверя, греющегося среди скал. В конце концов я сам был им, этим морским зверем: почти каждое положение этой книги было измышлено, выскользнуто в том сумбуре скал близ Генуи, где я одиночествовал и имел общие с морем тайны. Еще и теперь, при случайном моем соприкосновении с этой книгой, почти каждое предложение становится крючком, которым я снова извлекаю из глубины что-нибудь несравнимое: вся ее кожа дрожит от нежной дрожи воспоминаний. Искусство, которое она предполагает, есть немалое искусство закреплять вещи, скользящие легко и без шума, закреплять мгновения, называемые мною божественными ящерицами, закреплять, правда, не с жестокостью того юного греческого бога, который просто прокалывал бедных ящериц, но все же закреплять при помощи некоторого острия - пером... "Есть так много утренних зорь, которые ещё не светили" - эта индийская надпись высится на двери к этой книге. Где же ищет её автор того нового утра, ту до сих пор ещё не открытую нежную зарю, с которой начнётся снова день? - ах, целый ряд, целый мир новых дней! В переоценке всех ценностей, в освобождении от всех моральных ценностей, в утверждении и доверчивом отношении ко всему, что до сих пор запрещали, презирали, проклинали. Эта утверждающая книга

изливает свой свет, свою любовь, свою нежность на сплошь дурные вещи, она снова возвращает им "душу", чистую совесть, право, преимущественное право на существование. На мораль не нападают, её просто не принимают в расчёт... Эта книга заканчивается словом "или?" - это единственная книга, которая заканчивается словом "или?"...

2

Моя задача - подготовить человечеству момент высшего самосознания, великий полдень, когда оно оглянется назад и взглянет вперёд, когда оно выйдет из-под владычества случая и священников и поставит себе впервые, как целое, вопросы: почему? к чему? - эта задача с необходимостью вытекает из воззрения, что человечество само по себе не находится на верном пути, что оно управляется вовсе не божественно, что, напротив, среди его самых священных понятий о ценности соблазнительно господствует инстинкт отрицания, порчи, инстинкт *decadence*. Вопрос о происхождении моральных ценностей оттого и является для меня вопросом первостепенной важности, что он обуславливает будущее человечества. Требование, чтобы верили, что всё в сущности находится в наилучших руках, что одна книга, Библия, даст окончательную уверенность в божественном руководительстве и мудрости в судьбах человечества, это требование, перенесённое обратно в реальность, есть воля к подавлению истины о жалкой противоположности сказанного, именно, что человечество до сих пор пребывало в наисквернейших руках, что оно управлялось неудачниками и коварными мстителями, так называемыми святыми, этими мирохулиателями и человекоосквернителями. Решающий признак, устанавливающий, что священник (включая и затаившихся священников - философов) сделался господином не только в пределах определённой религиозной общины, но и всюду вообще, есть мораль *decadence*, воля к концу, которая ценится как мораль сама по себе и заключается в безусловной ценности, приписываемой началу незгоистическому и враждебному всякому эгоизму. Кто в этом пункте не заодно со мною, того считаю я инфицированным... Но весь мир не заодно со мною... Для физиолога такое противопоставление ценностей не оставляет никакого сомнения. Если в организме самый незначительный орган хотя бы в малой степени ослабляет совершенно точное проявление своего самоподдержания, возмещения своей силы, своего "эгоизма", то вырождается и весь организм. Физиолог требует ампутации выродившейся части, он отрицает всякую солидарность с нею, он стоит всего дальше от сострадания к ней. Но священник хочет именно вырождения целого, вырождения человечества: оттого и консервирует он вырождающееся - этой ценой господствует он над ним... Какой смысл имеют ложные, вспомогательные понятия морали - "душа", "дух", "свободная воля", "Бог" - как не тот, чтобы физиологически руинировать человечество?.. Когда отклоняют серьёзность самосохранения и увеличения силы тела, т. е. жизни, когда из бледной немочи конструируют идеал, из презрения к телу - "спасение души", то что же это, как не рецепт *decadence*? - Утрата равновесия, сопротивление естественным инстинктам, "самоотречение" - одним словом, это называлось до сих пор моралью... С "Утренней зарёй" предпринял я впервые борьбу против морали самоотречения. -

ВЕСЁЛАЯ НАУКА

("la gaya scienza")

"Утренняя заря" есть утверждающая книга, глубокая, но светлая и доброжелательная. То же, но ещё в большей степени, применимо и к la *gaia scienza*: почти в каждой строке её нежно держатся за руки глубокомыслие и резвость. Стихи, выражающие благодарность самому чудесному месяцу, январю, который я пережил - вся книга есть его подарок, - в достаточной степени объясняют, из какой глубины "наука" стала здесь весёлой:

Ты, что огненною пикой
Лёд души моей разбил,
И к морям надежд великих
Бурный путь ей проложил:
И душа светла и в здравье,
И вольна среди обуз
Чудеса твои прославит,
Дивный Януариус! -

Может ли тот, кто видит, как заблестала, в заключение четвёртой книги, алмазная красота первых слов Заратустры, может ли он сомневаться в том, что называется здесь "великой надеждой"? - Или тот, кто читает гранитные строки в конце третьей книги, с помощью которых впервые отливается в формулы судьба всех времён? Песни принца Фогельфрай, в лучшей своей части написанные в Сицилии, весьма выразительно напоминают о том провансальском понятии "*gaia scienza*", о том единстве певца, рыцаря и вольнодумца, которым чудесная ранняя культура провансальцев отличалась от всех двусмысленных культур; самое последнее стихотворение "к Мистрально", бурная танцевальная песнь, где, с позволения! пляшут над моралью, есть совершенный провансализм. -

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

Книга для всех и ни для кого

Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения, мысль о вечном возвращении, эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, - относится к августу 1881 года: она набросана на листе бумаги с надписью: "6000 футов по ту сторону человека и времени". Я шел в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могучего, пирамидально нагроможденного блока камней, недалеко от Сурлея, я остановился. Там пришла мне эта мысль. - Когда я отсчитываю от этого дня несколько месяцев назад, я нахожу, как предзнаменование, внезапную и глубоко решительную перемену моего вкуса, прежде всего в музыке. Может быть, всего Заратустру позволительно причислить к музыке - несомненно, возрождение искусства слышать было его предварительным условием. В Рекоаро, маленьком горном курорте, близ Винченцы, где я провел весну 1881 года, я открыл вместе с моим *maestro* и другом Петером Гастом, тоже "возрожденным", что феникс Музыка пролетел мимо нас в перьях более легких и светоносных, чем когда бы то ни было. Если, напротив, я считаю от этого дня вперед до внезапного и при самых невероятных условиях протекавшего разрешения в феврале 1883 года от бремени - заключительная часть, та самая, из которой я цитировал несколько изречений в Предисловии, была дописана как раз в тот священный час, когда умер в Венеции Рихард Вагнер, - то оказывается восемнадцать месяцев беременности. Это число, именно восемнадцать месяцев, могло бы навести на мысль, по крайней мере среди буддистов, что я в сущности слон-самка. - Промежуточному времени принадлежит "*gaia scienza*", которая несет сто предзнаменований близости чего-то несравнимого; наконец она дает даже самое

начало Заратустры, она дает в предпоследнем отрывке четвертой книги основную мысль Заратустры. - Этому же промежуточному времени принадлежит и тот Гимн к жизни (для смешанного хора и оркестра), партитура которого вышла два года тому назад у Э. В. Фрицша в Лейпциге: может быть, это - не малозначительный симптом для состояния этого года, когда утверждающий пафос *par excellence*, названный мною трагическим пафосом, был мне присущ в наивысшей степени. Позднее его некогда будут петь в память обо мне. - Текст, отмечаю ясно, ибо по этому поводу распространено недоразумение, принадлежит не мне: он есть изумительное вдохновение молодой русской девушки, с которой я тогда был дружен, - фрейлейн Лу фон Саломе. Кто сумеет извлечь вообще смысл из последних слов этого стихотворения, тот угадает, почему я предпочел его и восхищался им: в них есть величие. Страдание не служит возражением против жизни: "Если у тебя нет больше счастья, чтобы дать мне его, ну что ж! у тебя есть еще твоя мука..." Быть может, и в моей музыке в этом месте есть величие. (Последняя нота кларнета в строе ля *cis*, а не *c*. Опечатка.) - Следующую затем зиму я жил в той уютно тихой бухте Рапалло, недалеко от Генуи, которая врезается между Кьявари и мысом Портофино. Мое здоровье было не из лучших; зима выдалась холодная и чрезмерно дождливая; маленькая гостиница, расположенная у самого моря, так что ночью прилив просто лишал сна, представляла почти во всем противоположность желательного. Несмотря на это и почти в доказательство моего утверждения, что все выдающееся возникает "несмотря", в эту зиму и в этих неблагоприятных условиях возник мой Заратустра. - В дообеденное время я поднимался в южном направлении по чудесной улице вверх к Зоальи, мимо сосен и глядя далеко в море; после обеда, так часто, как только позволяло мое здоровье, я обходил всю бухту от Санта-Маргериты до местности, расположенной за Портофино. Эта местность и этот ландшафт сделались еще ближе моему сердцу благодаря той любви, которую чувствовал к ним император Фридрих III; случайно осенью 1886 года я был опять у этих берегов, когда он уже в последний раз посетил этот маленький забытый мир счастья. - На обеих этих дорогах пришел мне в голову весь первый Заратустра, и прежде всего сам Заратустра, как тип: точнее, он снизошел на меня...

2

Чтобы понять этот тип, надо сперва уяснить себе его физиологическую предпосылку; она есть то, что я называю великим здоровьем. Я не могу разъяснить это понятие лучше, более лично, чем я уже сделал это в одном из заключительных разделов пятой книги "*gaya scienza*". "Мы, новые, безымянные, труднодоступные, - говорится там, - мы, недоноски еще не доказанного будущего, - нам для новой цели потребно и новое средство, именно, новое здоровье, более крепкое, более умудренное, более цепкое, более отважное, более веселое, чем все бывшие до сих пор здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объеме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального "Средиземноморья", кто ищет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, равным образом у художника, у святого, у законодателя, у мудреца, у ученого, у благочестивого, у предсказателя, у пустынножителя старого стиля, - тот прежде всего нуждается для этого в великом здоровье - в таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться!.. И вот же, после того как мы так долго были в пути, мы, аргонавты идеала, более храбрые, должно быть, чем этого

требует благоразумие, подвергшиеся стольким кораблекрушениям и напастьям, но, как сказано, более здоровые, чем хотели бы нам позволить, опасно здоровые, все вновь и вновь здоровые, - нам начинает казаться, будто мы, в вознаграждение за это, видим какую-то еще не открытую страну, границ которой никто еще не обозрел, некое по ту сторону всех прежних земель и уголков идеала, мир до того богатый прекрасным, чуждым, сомнительным, страшным и божественным, что наше любопытство, как и наша жажда обладания, выходит из себя - ах! и мы уже ничем не можем насытиться! Как смогли бы мы, после таких перспектив и с таким ненасытным голодом на совесть и весть, довольствоваться еще современным человеком? Довольно скверно: но и невозможно, чтобы мы только с деланной серьезностью взирали и, пожалуй, даже вовсе не взирали на его почтеннейшие цели и надежды. Нам предносится другой идеал, причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому мы никого не хотели бы склонить, ибо ни за кем не признаем столь легкого права на него: идеал духа, который наивно, стало быть, сам того не желая и из бьющего через край избытка полноты и мощи играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого то наивысшее, в чем народ по справедливости обладает своим ценностным мериллом, означало бы уже опасность, упадок, унижение или, по меньшей мере, отдых, слепоту, временное самозабвение; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который довольно часто выглядит нечеловеческим, скажем, когда он рядом со всей бывшей на земле серьезностью, рядом со всякого рода торжественностью в жесте, слове, звучании, взгляде, морали и задаче изображает как бы их живейшую произвольную пародию, - и со всем тем, несмотря на все то, быть может, только теперь и появляется впервые великая серьезность, впервые ставится вопросительный знак, поворачивается судьба души, сдвигается стрелка, начинается трагедия..."

3

Есть ли у кого-нибудь в конце девятнадцатого столетия ясное понятие о том, что поэты сильных эпох называли инспирацией? В противном случае я хочу это описать. - При самом малом остатке суеверия действительно трудно защититься от представления, что ты только инкарнация, только рупор, только медиум сверхмощных сил. Понятие откровения в том смысле, что нечто внезапно с несказанной уверенностью и точностью становится видимым, слышимым и до самой глубины потрясает и опрокидывает человека, есть просто описание фактического состояния. Слышишь без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме, не допускающей колебаний, - у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными; частичная невменяемость с предельно ясным сознанием бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действуют не как противоречие, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, охватывающий далекие пространства форм - продолжительность, потребность в далеко напряженном ритме, есть почти мера для силы вдохновения, своего рода возмещение за его давление и напряжение... Все происходит в высшей степени произвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности... Произвольность образа, символа есть самое замечательное; не имеешь больше понятия о том, что образ,

что сравнение; все приходит как самое близкое, самое правильное, самое простое выражение. Действительно, кажется, вспоминая слова Заратустры, будто вещи сами приходят и предлагают себя в символы. ("Сюда приходят все вещи, ластьясь к твоей речи и лстя тебе: ибо они хотят скакать верхом на твоей спине. Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем истинам. Здесь раскрываются тебе слова и ларчики слов всякого бытия: здесь всякое бытие хочет стать словом, всякое становление хочет здесь научиться у тебя говорить - "). Это мой опыт инспирации; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать: "это и мой опыт".

4

Потом я лежал несколько недель больной в Генуе. Вслед за этим последовала тоскливая весна в Риме, куда я переехал жить, - это было нелегко. В сущности меня сверх меры раздражало это самое неприличное для поэта Заратустры место на земле, которое я выбрал не добровольно; я пытался освободиться - я хотел в Аквилу, понятие, противоположное Риму, основанное из вражды к Риму, как и я когда-нибудь осную место, воспоминание об атеисте и враге церкви *comme il faut*, моем ближайшем родственнике, великом императоре Гогенштауфене, Фридрихе II. Но во всем этом был рок: я должен был вернуться. В конце концов я удовлетворился piazza Barberini, после того как меня утомили заботы об антихристианской местности. Боюсь, что однажды, во избежание по возможности дурных запахов, я справлялся даже на palazzo del Quirinale, нет ли там тихой комнаты для философа. В loggia, высоко над вышеназванной piazza, откуда виден Рим и слышно внизу журчание fontana, была создана самая одинокая песнь, какая когда-либо была создана, Ночная песнь; в это время носилась вокруг меня мелодия несказанной тоски, напев которой я снова нашел в словах: "мертвый от бессмертия"... Летом, вернувшись домой, к священному месту, где мне сверкнула первая молния мысли о Заратустре, я нашел вторую его часть. Десяти дней было достаточно; ни на первую, ни на третью и последнюю часть я ни в коем случае не употребил больше времени. В следующую затем зиму, под халкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестало впервые в моей жизни, нашел я третью часть Заратустры - и был готов. Меньше года хватило на все. Много заброшенных уголков и высот из ландшафта Ниццы освящены для меня незабвенными мгновениями; та решающая часть, которая носит название "О старых и новых скрижалях", была создана при труднейшем восхождении от станции к чудесному мавританскому горному гнезду Эца - ловкость мускулов была у меня всегда наибольшей, когда и творческая сила текла в изобилии. Тело одухотворено: оставим "душу" в покое... Меня часто видели танцующим; я мог тогда, без понятия об утомлении, быть пять-шесть часов в пути в горах. Я хорошо спал, я много смеялся - у меня была совершенная выносливость и терпение.

5

За вычетом этих десятидневных творений, годы во время и главным образом после Заратустры были несравнимым бедствием. Дорого искупается - быть бессмертным: за это умираешь не раз живьем. - Есть нечто, что называю я гапсине великого: все великое, всякое творение, всякое дело, однажды содеянное, немедленно обращается против того, кто его содеял. Именно потому, что он его содеял, он слаб теперь, он не выдерживает больше своего дела, он

не смотрит больше ему в лицо. Иметь за собой нечто, чего никогда не смел хотеть, нечто, в чем завязан узел в судьбе человечества, - и иметь это теперь на себе!.. Это почти придавливает... Rancune великого! - Второе, это ужасная тишина, которую слышишь вокруг себя. У одиночества семь шкур; ничто не проникает сквозь них. Приходишь к людям, приветствуешь друзей: новая пустыня, ни одного приветного взора. В лучшем случае нечто вроде возмущения. Такое возмущение, но в очень различной степени испытывал и я, и почти от каждого, кто был мне близок; кажется, ничто не оскорбляет глубже, чем если вдруг дать почувствовать дистанцию, - благородные натуры, которые не могут жить без глубокого почитания, бывают редки. - Третье - это абсурдная раздражительность кожи к маленьким уколам, своего рода беспомощность перед всем маленьким. Она кажется мне обусловленной той огромной тратой всех оборонительных сил, которая является предпосылкой всякого творческого действия, всякого действия, проистекающего из наиболее личного, наиболее интимного, наиболее сокровенного. Маленькие оборонительные силы как бы уничтожены; они не имеют никакого притока сил. - Я решаюсь еще указать, что ухудшается пищеварение, начинаешь неохотно двигаться, часто подвергаешься ознобу, также и чувству недоверия - того недоверия, которое во многих случаях есть простая этиологическая ошибка. В таком состоянии почувствовал я однажды приближение стада коров, прежде чем я увидел его, - благодаря возвращению более нежных, более человеколюбивых мыслей: в этом есть теплота...

6

Произведение это стоит совершенно особняком. Оставим в стороне поэтов; быть может, вообще никогда и ничто не было сотворено от равного избытка силы. Моё понятие "дионисическое" претворилось здесь в наивысшее действие; применительно к нему вся остальная человеческая деятельность выглядит бедной и условной. Какой-нибудь Гёте, какой-нибудь Шекспир ни минуты не могли бы дышать в этой атмосфере чудовищной страсти и высоты, Данте в сравнении с Заратустрой есть только верующий, а не тот, кто создаёт впервые истину, управляющий миром дух, рок, - поэты Веды суть только священники, и не достойны даже развязать ремни башмаков Заратустры; но всё это есть ещё минимум и не даёт никакого понятия о той дистанции, о том лазурном одиночестве, в котором живёт это произведение. У Заратустры есть вечное право сказать: "я замыкаю круги вокруг себя и священные границы; всё меньше поднимающихся со мною на всё более высокие горы; я строю хребет из всё более священных гор". Пусть соединят воедино дух и доброту всех великих душ: и совокупно не были бы они в состоянии произнести хотя бы одну речь Заратустры. Велика та лестница, по которой он поднимается и спускается; он дальше видел, дальше хотел, дальше мог, чем какой бы то ни было другой человек. Он противоречит каждым словом, этот самый утверждающий из всех умов; в нём все противоположности связаны в новое единство. Самые высшие и самые низшие силы человеческой натуры, самое сладкое, самое легкомысленное и самое страшное с бессмертной уверенностью струятся у него из единого источника. До него не знали, что такое глубина, что такое высота, ещё меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения в этом откровении истины, которое было бы уже предвосхищено, угадано кем-либо из величайших. Не было мудрости, не было исследования души, не было искусства говорить до Заратустры; самое близкое, самое повседневное говорит здесь о неслыханных вещах. Сентенция дрожит от страсти; красноречие стало музыкой; молнии

сверкают в не разгаданное доселе будущее. Самая могучая сила образов, какая когда-либо существовала, является убожеством и игрушкой по сравнению с этим возвращением языка к природе образности. - А как Заратустра спускается с гор и говорит каждому самое доброжелательное! Как он даже своих противников, священников, касается нежной рукой и вместе с ними страдает из-за них! - Здесь в каждом мгновении преодолевается человек, понятие "сверхчеловека" становится здесь высшей реальностью, - в бесконечной дали лежит здесь всё, что до сих пор называлось великим в человеке, лежит ниже его. О халкионическом начале, о лёгких ногах, о совмещении злобы и легкомыслия и обо всём, что вообще типично для типа Заратустры, никогда ещё никто не мечтал как о существенном элементе величия. Заратустра именно в этой шири пространства, в этой доступности противоречиям чувствует себя наивысшим проявлением всего сущего; и когда услышат, как он это определяет, откажутся от поисков ему равного.

- душа, имеющая очень длинную лестницу и могущая опуститься очень низко, -

- душа самая обширная, которая далеко может бегать, блуждать и метаться в себе самой; самая необходимая, которая ради удовольствия бросается в случайность, -

- душа сущая, которая погружается в становление; имущая, которая хочет войти в волю и в желание, -

- убегающая от себя самой и широкими кругами себя догоняющая; душа самая мудрая, которую тихонько приглашает к себе безумие, -

- наиболее себя любящая, в которой все вещи находят своё течение и своё противотечение, свой прилив и отлив -

Но это и есть понятие самого Диониса. - Именно к нему приводит ещё и другое размышление. Психологическая проблема в типе Заратустры заключается в вопросе, каким образом тот, кто в неслыханной степени говорит Нет, делает Нет всему, чему до сих пор говорили Да, может, несмотря на это, быть противоположностью отрицающего духа; каким образом дух, несущий самое тяжкое бремя судьбы, роковую задачу, может, несмотря на это, быть самым лёгким и самым потусторонним - Заратустра есть танцор, - каким образом тот, кто обладает самым жестоким, самым страшным познанием действительности, кто продумал "самую бездонную мысль", не нашёл, несмотря на это, возражения против существования, даже против его вечного возвращения, - напротив, нашёл ещё одно основание, чтобы самому быть вечным утверждением всех вещей, "говорить огромное безграничное Да и Аминь"... "Во все бездны несу я своё благословляющее утверждение"... Но это и есть ещё раз понятие Диониса.

7

Каким языком будет говорить подобный дух, когда ему придётся говорить с самим собою? Языком дифирамба. Я изобретатель дифирамба. Пусть послушают, как говорит Заратустра с самим собою перед восходом солнца: таким изумрудным счастьем, такой божественной нежностью не обладал ещё ни один язык до меня. Даже глубочайшая тоска такого Диониса всё ещё обращается в дифирамб; я беру в доказательство Ночную песнь - бессмертную жалобу того, кто из-за преизбытка света и власти, из-за своей солнечной природы обречён не любить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь только пробуждаются все песни влюблённых. И моя душа тоже песнь влюблённого.

Что-то неутолённое, неутолимое есть во мне; оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне; она сама говорит языком любви.

Я - свет; ах, если бы быть мне ночью! Но в том и одиночество моё, что опоясан я светом.

Ах, если бы быть мне тёмным и ночным! Как упивался бы я сосцами света!

И даже вас благословлял бы я, вы, звёздочки, мерцающие, как светящиеся червяки, на небе! - и был бы счастлив от ваших даров света.

Но я живу в своём собственном свете, я вновь поглощаю пламя, что исходит из меня.

Я не знаю счастья берущего; и часто мечтал я о том, что красть должно быть ещё блаженнее, чем брать.

В том моя бедность, что моя рука никогда не отдыхает от дарения; в том моя зависть, что я вижу глаза, полные ожидания, и просветлённые ночи тоски.

О горе всех, кто дарит! О затмение моего солнца! О алкание желаний! О ярый голод среди пресыщения!

Они берут у меня; но затрагиваю ли я их душу? Целая пропасть лежит между дарить и брать; но и через малейшую пропасть очень трудно перекинуть мост.

Голод вырастает из моей красоты; причинить страдание хотел бы я тем, кому я свечу, ограбить хотел бы одарённых мною - так алчу я злобы.

Отдёрнуть руку, когда другая рука уже протягивается к ней; медлить, как водопад, который медлит в своём падении, - так алчу я злобы.

Такое мщение измышляет мой избыток; такое коварство рождается из моего одиночества.

Моё счастье дарить замерло в дарении, моя добродетель устала от себя самой и от своего избытка!

Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд; кто постоянно раздаёт, у того рука и сердце натирают себе мозоли от постоянного раздавания.

Мои глаза не делаются уже влажными перед стыдом просящих; моя рука слишком огрубела для дрожания рук наполненных.

Куда же девались слёзы из моих глаз и пушок из моего сердца? О одиночество всех дарящих! О молчаливость всех светящих!

Много солнц вращается в пустом пространстве; всему, что темно, говорят они своим светом - для меня молчат они.

О, в этом и есть вражда света ко всему светящемуся: безжалостно проходит он своими путями.

Несправедливое в глубине сердца ко всему светящемуся, равнодушное к другим солнцам - так движется всякое солнце.

Как буря, несутся солнца своими путями, в этом - движение их. Своей неумолимой воле следуют они, в этом - холод их.

О, это вы, тёмные ночи, создаёте теплоту из всего светящегося! О, только вы пьёте молоко и усладу из сосцов света!

Ах, лёд вокруг меня, моя рука обжигается об лёд! Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!

Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жаждою тьмы! И одиночеством!

Ночь: теперь рвётся, как родник, моё желание - желание говорить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь пробуждаются все песни влюблённых. И моя душа тоже песнь влюблённого.

Так никогда не писали, никогда не чувствовали, никогда не страдали: так страдает бог, Дионис. Ответом на такой дифирамб солнечного уединения в свете была бы Ариадна... Кто, кроме меня, знает, что такое Ариадна!.. Ни у кого до сих пор не было разрешения всех подобных загадок, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь даже видел здесь загадки. - Заратустра определил однажды со всей строгостью свою задачу - это также и моя задача, - так что нельзя ошибиться в смысле: он есть утверждающий вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего.

Я хожу среди людей, как среди обломков будущего, - того будущего, что вижу я.

И в том моё творчество и стремление, чтобы собрать и соединить воедино всё, что является обломком, загадкой и ужасной случайностью.

И как мог бы я быть человеком, если бы человек не был также поэтом, отгадчиком и избавителем от случая!

Спаси тех, кто миновали, и преобразить всякое "было" в "так хотел я" - лишь это я назвал бы избавлением.

В другом месте он со всей возможной строгостью определяет, чем может быть для него "человек" - ни предметом любви, ни даже предметом сострадания, - и над великим отвращением к человеку стал Заратустра господином: человек для него есть бесформенная масса, материал, безобразный камень, требующий ещё ваятеля.

Не хотеть больше, не ценить больше и не созидать больше: ах, пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далёкой!

Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моём познании, то потому, что есть в нём воля к рождению.

Прочь от Бога и богов тянула меня эта воля: и что осталось бы созидать, если бы боги - существовали!

Но всегда к человеку влечёт меня сызнова пламенная воля моя к созиданию; так устремляется молот на камень.

Ах, люди, в камне дремлет для меня образ, образ моих образов! Ах, он должен дремать в самом твёрдом, самом безобразном камне!

Теперь дико устремляется мой молот на свою тюрьму. От камня летят куски; какое мне дело до этого?

Завершить хочу я этот образ: ибо тень подошла ко мне - самая молчаливая, самая лёгкая приблизилась ко мне!

Красота сверхчеловека приблизилась ко мне, как тень. Что мне теперь - до богов!..

Я отмечаю последнюю точку зрения: подчёркнутая строфа даёт доступ к ней. Для дионисической задачи твёрдость молота, радость даже при уничтожении, принадлежит решительным образом к предварительным условиям. Императив: "станьте тверды!", самая глубокая уверенность в том, что все созидющие тверды, есть истинный отличительный признак дионисической натуры.

ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА

Прелюдия к философии будущего

Задача для воспоследовавших затем лет была предначертана со всей возможной строгостью. После того как утверждающая часть моей задачи была

разрешена, настала очередь негативной, неактивной (neintuende) половины: переоценка бывших до сего времени ценностей, великая война - заклинание решающего дня. Сюда относится и осторожный взгляд, ищущий близких, таких, которые из силы протянули бы мне руку для разрушения. - С этих пор все мои сочинения суть рыболовные крючки; возможно, я лучше кого-либо знаю толк в рыбной ловле?.. Если ничего не ловилось, то это не моя вина. Не было рыбы...

2

Эта книга (1886) во всём существенном есть критика современности, не исключая и современных наук, современных искусств, даже современной политики, наряду с указаниями, отсылающими к противоположному типу, который отмечен решительным минимумом современности, к благородному, утверждающему типу. В этом последнем смысле книга представляет собою школу *gentilhomme*, беря названное понятие более духовно и более радикально, чем его брали когда-либо. Нужно иметь мужество во плоти, чтобы выдержать его, нужно не знать страха... Все вещи, которыми так гордится наш век, пережиты здесь как противоречие этому типу, почти как дурные манеры, например знаменитая "объективность", "сочувствие ко всему страждущему", "историческое чувство" с его раболепством перед чужим вкусом, с его ползанием на животе перед *petits faits*, "научность". - Если вспомнить, что эта книга следует за Заратустрой, то легко угадать тот диететический *regime*, которому она обязана своим возникновением. Глаз, избалованный чудовищной принудительностью быть дальновзорким - Заратустра дальновиднее самого царя, - вынужден здесь остро схватывать ближайшее, время, обстание. Во всех отношениях, и прежде всего в форме, легко найти как бы добровольный разрыв с теми инстинктами, из которых стал возможным Заратустра. Рафинированность в форме, в замысле, в искусстве молчать стоит здесь на переднем плане, психология трактуется с намеренной твёрдостью и жестокостью - книга отклоняет всякое добродушное слово... На всём этом можно отдохнуть: впрочем, кто угадает, какого рода отдых нужен после такой траты доброты, как Заратустра?.. Говоря теологически - пусть прислушиваются, ибо я редко говорю как теолог, - сам Бог улёгся в конце своего трудового дня, подобно змее, под древо познания: так отдыхал он от обязанности быть Богом... Он сотворил всё слишком прекрасным... Дьявол есть только праздность Бога в каждый седьмой день...

ГЕНЕАЛОГИЯ МОРАЛИ

Полемическое сочинение

Три рассмотрения, из которых состоит эта генеалогия, быть может, с точки зрения выражения, цели и искусства изумлять есть самое зловещее, что до сих пор было написано. Дионис, как известно, есть также бог мрака. - Каждый раз начало, которое должно вводить в заблуждение, - холодное, научное, даже ироническое, нарочито выпирающее, нарочито останавливающее на себе. Постепенно больше беспокойства; местами молнии; очень неприятные истины, слышные издали с глухим рокотом, - пока наконец не достигается *tempo feroce*, где всё мчится вперёд с чудовищным напряжением. В конце, каждый раз, среди поистине ужасных раскатов, новая истина становится видимой среди густых туч. - Истина первого рассмотрения есть психология христианства: рождение христианства из духа *ressentiment*, а не из "духа", как часто думают, - по существу движение назад, великое восстание против господства

аристократических ценностей. Второе рассмотрение даёт психологию совести: она не есть "голос Бога в человеке", как часто думают, - она есть инстинкт жестокости, обращённый назад, внутрь, после того как он уже не может разрядиться вовне. Жестокость впервые освещается здесь как одно из самых старых и самых неустрашимых оснований культуры. Третье рассмотрение даёт ответ на вопрос, откуда происходит чудовищная власть аскетического идеала, идеала священника, несмотря на то что он есть идеал вредный *par excellence*, воля к гибели, идеал *decadence*. Ответ: не потому, что Бог действует за спиной священников, как обыкновенно думают, а *faute de mieux* - потому, что это был до сих пор единственный идеал, ибо он не имел конкурентов. "Ибо человек предпочитает хотеть Ничто, чем ничего не хотеть"... Прежде всего недоставало противоида - вплоть до Заратустры. - Меня поняли. Здесь три решающие предварительные работы психолога для переоценки всех ценностей. - Эта книга содержит первую психологию священника.

СУМЕРКИ ИДОЛОВ

Как философствуют молотом

Это сочинение менее чем в 150 страниц, весёлое и зловещее по тону, демон, который смеётся, - произведение столь немногих дней, что я стесняюсь назвать их число, - является вообще исключением среди книг: нет ничего более богатого содержанием, более независимого, более опрокидывающего - более злого. Если хотят вкратце составить себе понятие о том, как до меня всё стояло вверх ногами, пусть начинают с этого сочинения. То, что называется идолом на титульном листе, есть попросту то, что называли до сих пор истиной. Сумерки идолов - по-немецки: старая истина приходит к концу...

2

Нет ни одной реальности, ни одной "идеальности", которая в этом сочинении не была бы затронута (- затронута: какой осторожный евфемизм!..). Не только вечные идола, но и самые молодые, следовательно, самые хилые. "Современные идеи", например. Великий ветер проносится между деревьями, и всюду падают плоды - истины. В этом расточительность слишком богатой осени: спотыкаешься об истины, некоторые из них даже придавлены насмерть - до того их много... Но то, что остаётся в руках, это уже не проблематичное, это уже решения. У меня впервые в руках масштаб для "истин", я впервые могу решать. Как если бы во мне выросло второе сознание, как если бы "воля" зажгла во мне свет для себя над кривою тропой, по которой она до сих пор спускалась вниз... Кривая тропа - её называли путём к "истине"... Кончилось всякое "тёмное стремление", именно добрый человек меньше всего смыслил в настоящем пути... И, говоря вполне серьёзно, никто до меня не знал настоящего пути, пути вверх: только с меня начинаются снова надежды, задачи, предписывающие пути культуры, - я их благостный вестник. Именно поэтому являюсь я роком...

3

Непосредственно за окончанием только что названного произведения и не теряя ни одного дня приступил я к чудовищной задаче Переоценки, с чувством царской гордости, с которым ничто не может сравниться, каждую минуту сознавая своё бессмертие и высекая с уверенностью рока знак за знаком на

медных скрижалях. Предисловие появилось 3 сентября 1888 года: когда утром, после написания его, я вышел на воздух, предо мною был самый прекрасный день, какой когда-либо показывал мне Верхний Энгадин, - прозрачный, сверкающий красками, вмещающий в себя все контрасты и нюансы между льдом и Югом. - Лишь 20 сентября покинул я Сильс-Марию, задержанный наводнениями и в конце концов оставшийся единственным гостем этого чудесного места, которому благодарность моя приносит в дар бессмертное имя. После путешествия, полного случайностей и даже опасности для жизни в залитом водою Комо, которого я достиг лишь глубокой ночью, я прибыл 21-го днём в Турин, моё доказанное место, мою резиденцию отныне. Я снял ту самую квартиру, которую занимал весною, на via Carlo Alberto 6, III против колоссального palazzo Carignano, где родился Vittorio Emanuele, с видом на piazza Carlo Alberto и за ним далее на страну холмов. Не колеблясь и не давая ни на минуту отвлечь себя, вернулся я к работе: оставалось ещё написать последнюю четверть произведения. 30 сентября день великой победы; седьмой день; отдых Бога на берегах По. В тот же день написал я ещё предисловие к "Сумеркам идолов", корректура их печатных листов была моим отдыхом в сентябре. - Я никогда не переживал такой осени, даже никогда не считал что-нибудь подобное возможным на земле - Клод Лоррен, продуманный в бесконечное, каждый день - день равного беспредельного совершенства. -

КАЗУС ВАГНЕР

Проблема музыканта

Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки как от открытой раны. Отчего страдаю я, страдая от судьбы музыки? - Оттого, что музыка лишена своего миропрославляющего, утверждающего характера, - оттого, что она сделалась музыкой *decadence* и уже перестала быть свирелью Диониса... Но если кто-нибудь, подобно мне, чувствует в деле музыки собственное дело, историю собственных страданий, то он найдёт это сочинение всё ещё слишком снисходительным, слишком мягким. Быть весёлым в таких случаях и добродушно высмеивать попутно самого себя - *ridendo dicere severum*, - где *verum dicere* оправдало бы всякую суровость, - это сама гуманность. Кто собственно сомневается в том, что я, как старый артиллерист, могу выкатить против Вагнера моё тяжёлое орудие? - Всё решительное в этом деле я оставил при себе - я любил Вагнера. - Впрочем, в смысле и на пути моей задачи лежит нападение на более тонкого "незнакомца", которого другой не легко разгадает - о, мне предстоит открыть ещё совсем иных "незнакомцев", чем какого-то Калиостро музыки, - и конечно же более сильное нападение на становящуюся в духовном отношении всё более и более трусливой и бедной инстинктами, всё более и более делающуюся почтенной немецкую нацию, которая с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства желудка проглатывает "веру" вместе с научностью, "христианскую любовь" вместе с антисемитизмом, волю к власти (к "Империи") вместе с *evangile des humbles*... Это безучастие среди противоположностей! Эта пищеварительная нейтральность и это "бескорыстие"! Этот здравый смысл немецкого нёба, которое всему даёт равные права, - которое всё находит вкусным... Без всякого сомнения, немцы - идеалисты... Когда я в последний раз посетил Германию, я нашёл немецкий вкус озабоченным предоставлением равных прав Вагнеру и трубачу из Экингена; я сам был свидетелем того, как в Лейпциге, в честь самого настоящего и самого немецкого музыканта в старом

смысле слова, а не только в смысле имперского немца, мастера Генриха Шютца, был основан фереин Листа с целью развития и распространения извилистой церковной музыки... Без всякого сомнения, немцы - идеалисты...

2

Но здесь ничто не должно помешать мне стать грубым и сказать немцам несколько жёстких истин: кто сделает это кроме меня? - Я говорю об их непристойности *in historicis*. Немецкие историки не только утратили широкий взгляд на ход, на ценности культуры, но все они являются шутами политики (или церкви): они даже подвергают остракизму этот широкий взгляд. Надо прежде всего быть "немцем", "расой", тогда уже можно принимать решения о всех ценностях и не-ценностях *in historicis* - устанавливать их... "Немецкое" есть аргумент, "Deutschland, Deutschland uber alles" есть принцип, германцы суть "нравственный миропорядок" в истории; по отношению к *imperium Romanum* - носители свободы, по отношению к восемнадцатому столетию - реставраторы морали, "категорического императива"... Существует имперская немецкая историография, я боюсь, что существует даже антисемитская, - существует придворная историография, и господину фон Трейчке не стыдно... Недавно, в качестве "истины", обошло все немецкие газеты идиотское мнение *in historicis*, тезис, к счастью, усопшего эстетического шваба Фишера, с которым должен-де согласиться всякий немец: "Ренессанс и Реформация вместе образуют одно целое - эстетическое возрождение и нравственное возрождение". - При таких тезисах моё терпение приходит к концу, и я испытываю желание, я чувствую это даже как обязанность - сказать наконец немцам, что у них уже лежит на совести. Все великие преступления против культуры за четыре столетия лежат у них на совести!.. И всегда по одной причине: из-за их глубокой трусости перед реальностью, которая есть также трусость перед истиной, из-за их, ставшей у них инстинктом, неправдивости, из-за их "идеализма"... Немцы лишили Европу жатвы, смысла последней великой эпохи, эпохи Ренессанса, в тот момент, когда высший порядок ценностей, когда аристократические, жизнеутверждающие и обеспечивающие будущее ценности достигли победы в самой резиденции противоположных ценностей, ценностей упадка, - и вплоть до инстинктов тех, кто там находился! Лютер, этот роковой монах, восстановил церковь и, что в тысячу раз хуже, христианство в тот момент, когда оно было побеждено... Христианство, это ставшее религией отрицание воли к жизни... Лютер, невозможный монах, который по причине своей "невозможности" напал на церковь и - следовательно! - восстановил её... У католиков было бы основание устраивать празднества в честь Лютера, сочинять театральные представления в честь Лютера... Лютер - и "нравственное возрождение"! К чёрту всю психологию! - Без сомнения, немцы-идеалисты. - Дважды, когда с огромным мужеством и самопреодолением был достигнут правдивый, недвусмысленный, совершенно научный способ мышления, немцы сумели найти окольные пути к старому "идеалу", к примирению между истиной и "идеалом", в сущности к формулам на право отклонения от науки, на право лжи. Лейбниц и Кант - это два величайших тормоза интеллектуальной правдивости Европы! - Наконец, когда на мосту между двумя столетиями *decadence* явилась *force majeure* гения и воли, достаточно сильная, чтобы создать из Европы единство, политическое и экономическое единство, в целях управления землёй, немцы с их "войнами за свободу" лишили Европу смысла, чудесного смысла в существовании Наполеона, - оттого-то всё, что пришло после, что существует теперь, - лежит у них на совести: эта самая враждебная культуре болезнь и

безумие, какие только возможны, - национализм, эта *nevrose nationale*, которой больна Европа, это увековечение маленьких государств Европы, маленькой политики: они лишили самое Европу её смысла, её разума - они завели её в тупик. - Знает ли кто-нибудь, кроме меня, путь из этого тупика?.. Задача достаточно великая - снова связать народы?..

3

И в конце концов, почему бы не предоставить слова моему подозрению? Немцы и в моём случае опять испробуют всё, чтобы из чудовищной судьбы родить мышь. Они до сих пор компрометировали себя во мне, я сомневаюсь, что в будущем им удастся это лучшим образом. - Ах, как хочется мне быть здесь плохим пророком!.. Моими естественными читателями и слушателями уже и теперь являются русские, скандинавы и французы, - будет ли их постоянно всё больше? - Немцы вписали в историю познания только двусмысленные имена, они всегда производили только "бессознательных" фальшивомонетчиков (Фихте, Шеллингу, Шопенгауэру, Гегелю, Шлейермахеру приличествует это имя в той же мере, что и Канту и Лейбницу; все они только шлейермахеры): они никогда не дождутся чести, чтобы первый правдивый ум в истории мысли, ум, в котором истина произносит свой суд над подделкой монет в течение четырёх тысячелетий, был отождествлён с немецким духом. "Немецкий дух" - это мой дурной воздух: я с трудом дышу в этой, ставшей инстинктом, нечистоплотности *in psychologicis*, которую выдаёт каждое слово, каждая мина немца. Они не прошли вовсе через семнадцатый век сурового самоиспытания, как французы, - какой-нибудь Ларошфуко, какой-нибудь Декарт во сто раз превосходят правдивостью любого немца, - у них до сих пор не было ни одного психолога. Но психология есть почти масштаб для чистоплотности или нечистоплотности расы... И если нет чистоплотности, как может быть глубина? У немца, как у женщины, не добраться до основания, он лишён его: вот и всё. Но при этом нельзя быть даже плоским. - То, что в Германии называется "глубоким", есть именно этот инстинкт нечистоплотности в отношении себя, о котором я и говорю: нет никакого желания разобраться в себе. Не могу ли я предложить слово "немецкий" как международную монету для обозначения этой психологической испорченности? - В настоящий момент, например, немецкий кайзер называет своим "христианским долгом" освобождение рабов в Африке: среди нас, других европейцев, это называлось бы просто "немецким" долгом... Создали ли немцы хоть одну книгу, в которой была бы глубина? У них нет даже понятия о том, что глубоко в книге. Я познакомился с учёными, которые считали Канта глубоким; при прусском дворе, я боюсь, считают глубоким господина фон Трейчке. А когда я при случае хвалю Стендаля, как глубокого психолога, случается, что немецкий университетский профессор просит назвать это имя по слогам...

4

И почему бы мне не идти до конца? Я люблю убирать со стола. Слыть человеком, презирающим немцев *par excellence*, принадлежит даже к моей гордости. Своё недоверие к немецкому характеру я выразил уже двадцати шести лет (Третье Несвоевременное) - немцы для меня невозможны. Когда я измышляю себе род человека, противоречащего всем моим инстинктам, из этого всегда выходит немец. Первое, в чём я "испытываю утробу" человека, - вопрос: есть ли у него в теле чувство дистанции, видит ли он всюду ранг, степень, порядок между человеком и человеком, умеет ли он различать: этим отличается

gentilhomme; во всяком ином случае он безнадежно принадлежит к великодушному, ах! добродушному понятию canaille. Но немцы и есть canaille - ах! они так добродушны... Общение с немцами унижает: немец становится на равную ногу... За исключением моих отношений с некоторыми художниками, прежде всего с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа... Если представить себе, что среди немцев явился самый глубокий ум всех тысячелетий, то какая-нибудь спасительница Капитолия вообразила бы себе, что и её непрекрасная душа по крайней мере также принимается в расчёт... Я не выношу этой расы, среди которой находишься всегда в дурном обществе, у которой нет пальцев для nuances - горе мне! я есть nuance, - у которой нет esprit в ногах и которая даже не умеет ходить... У немцев в конце концов вовсе нет ступней, у них только ноги... У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они пошлы, но это есть суперлатив пошлости - они не стыдятся даже быть только немцами... Они говорят обо всём, они считают самих себя решающей инстанцией, я боюсь, что даже обо мне они уже приняли решение... Вся моя жизнь есть доказательство de rigueur для этих положений. Напрасно я ищу хотя бы одного признака такта, délicatesse в отношении меня. Евреи давали их мне, немцы - никогда. Моя природа хочет, чтобы я в отношении каждого был мягок и доброжелателен, - у меня есть право на то, чтобы не делать различий, - это не мешает, однако, чтобы у меня были открыты глаза. Я не делаю исключений ни для кого, меньше всего для своих друзей, - я надеюсь в конце концов, что это не нанесло никакого ущерба моей гуманности в отношении их. Есть пять-шесть вещей, из которых я всегда делал себе вопрос чести. - Несмотря на это, остаётся верным, что каждое из писем, полученных мною в течение лет, я ощущаю как цинизм: в доброжелательстве ко мне больше цинизма, чем в какой-нибудь ненависти... Я говорю в лицо каждому из моих друзей, что он никогда не утруждал себя изучением хотя бы одного из моих сочинений: я узнаю по мельчайшим чертам, что они даже не знают, что там написано. Что касается особенно моего Заратустры, то кто из моих друзей увидел бы в нём больше, чем недозволенную, к счастью, совершенно безразличную самонадеянность?.. Десять лет: и никто в Германии не сделал себе долга совести из того, чтобы защитить моё имя от абсурдного умолчания, под которым оно было погребено; лишь иностранец, датчанин, впервые обнаружил достаточную тонкость инстинкта и смелости и возмутился против моих мнимых друзей... В каком немецком университете были бы возможны нынче лекции о моей философии, которые читал в Копенгагене последней весной и этим ещё раз доказанный психолог д-р Георг Брандес? - Я сам никогда не страдал из-за всего этого; необходимое не оскорбляет меня; amor fati есть моя самая внутренняя природа. Но это не исключает того, что я люблю иронию, даже всемирно-историческую иронию. И вот же, почти за два года до разрушительного удара молнией Переоценки, которая повергнет землю в конвульсии, я послал в мир "Казус Вагнер": пусть же немцы ещё раз бессмертно ошибутся во мне и увековечат себя! для этого как раз есть ещё время! - Достигнуто ли это? - Восхитительно, господа германцы! Поздравляю вас...

ПОЧЕМУ ЯВЛЯЮСЬ Я РОКОМ

Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чём-то чудовищном - о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, предпринятом против

всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным. Я не человек, я динамит. - И при всём том во мне нет ничего общего с основателем религии - всякая религия есть дело черни, я вынужден мыть руки после каждого соприкосновения с религиозными людьми... Я не хочу "верующих", я полагаю, я слишком злобен, чтобы верить в самого себя, я никогда не говорю к массам... Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь святым; вы угадаете, почему я наперёд выпускаю эту книгу: она должна помешать, чтобы в отношении меня не было допущено насилия... Я не хочу быть святым, скорее шутком... Может быть, я и есмь шут... И не смотря на это или, скорее, несмотря на это - ибо до сих пор не было ничего более лживого, чем святые, - устами моими глаголет истина. - Но моя истина ужасна: ибо до сих пор ложь называлась истиной. - Переоценка всех ценностей - это моя формула для акта наивысшего самосознания человечества, который стал во мне плотью и гением. Мой жребий хочет, чтобы я был первым приличным человеком, чтобы я признавал себя в противоречии с ложью тысячелетий... Я первый открыл истину через то, что я первый ощутил - вынюхал - ложь как ложь... Мой гений в моих ноздрях... Я противоречу, как никогда никто не противоречил, и, несмотря на это, я противоположность отрицающего духа. Я благостный вестник, какого никогда не было, я знаю задачи такой высоты, для которой до сих пор недоставало понятий; впервые с меня опять существуют надежды. При всём том я по необходимости человек рока. Ибо когда истина вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут сотрясения, судороги землетрясения, перемещение гор и долин, какие никогда не снились. Понятие политики совершенно растворится в духовной войне, все формы власти старого общества взлетят в воздух - они покоятся все на лжи: будут войны, каких ещё никогда не было на земле. Только с меня начинается на земле большая политика.

2

Вы хотите формулы для такой судьбы, которая становится человеком? - Она проставлена в моём Заратустре.

- и кто должен быть творцом в добре и зле, поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.

Так принадлежит высшее зло к высшему благу, а это благо есть творческое.

Я гораздо более ужасный человек, чем кто-либо из существовавших до сих пор; это не исключает того, что я буду самым благотворительным. Я знаю радость уничтожения в степени, соразмерной моей силе уничтожения - в том и другом я повинуюсь своей дионисической натуре, которая не умеет отделять отрицания от утверждения. Я первый имморалист: поэтому я истребитель *par excellence*.

3

Меня не спрашивали, меня должны были бы спросить, что собственно означает в моих устах, устах первого имморалиста, имя Заратустры: ибо то, что составляет чудовищную единственность этого перса в истории, является прямой противоположностью мне. Заратустра первый увидел в борьбе добра и зла истинное колесо в движении вещей - перенесение морали в метафизику, как силы, причины, цели в себе, есть его дело. Но этот вопрос был бы в сущности уже и ответом. Заратустра создал это роковое заблуждение, мораль: следовательно, он должен быть первым, кто познает его. Не только потому, что он имеет здесь более долгий и богатый опыт, чем всякий другой мыслитель; вся

история есть не что иное, как экспериментальное опровержение тезиса о "нравственном миропорядке", - гораздо важнее то, что Заратустра правдивее всякого другого мыслителя. Его учение, и только оно одно, считает правдивость высшей добродетелью - это значит, противоположностью трусости "идеалиста", который обращается в бегство перед реальностью; у Заратустры больше мужества в теле, чем у всех мыслителей вместе взятых. Говорить правду и хорошо стрелять из лука - такова персидская добродетель. Понимают ли меня?.. Самопреодоление морали из правдивости, самопреодоление моралиста в его противоположность - в меня - это и означает в моих устах имя Заратустры.

4

В сущности в моём слове имморалист заключаются два отрицания. Я отрицаю, во-первых, тип человека, который до сих пор считался самым высоким, - добрых, доброжелательных, благодетельных; я отрицаю, во-вторых, тот род морали, который, как мораль сама по себе, достиг значения и господства, - мораль *decadence*, говоря осязательнее, христианскую мораль. Можно на второе отрицание смотреть как на более решительное отрицание, ибо слишком высокая оценка доброты и доброжелательства в общем есть для меня уже следствие *decadence*, симптом слабости, несовместимый с восходящей и утверждающей жизнью: в утверждении отрицание и уничтожение суть условия. - Я останавливаюсь прежде всего на психологии доброго человека. Чтобы оценить, чего стоит данный тип человека, надо высчитать цену, во что обходится его сохранение, - надо знать его условия существования. Условие существования добрых есть ложь: выражаясь иначе, нежелание видеть во что бы то ни стало, какова в сущности действительность; я хочу сказать, она не такова, чтобы каждую минуту вызывать доброжелательные инстинкты, ещё менее, чтобы допускать ежеминутное вмешательство близоруких добродушных рук. Смотреть на бедствия всякого рода как на возражение, как на нечто, что подлежит уничтожению, есть *niaiserie par excellence*, есть вообще истинное несчастье по своим последствиям, роковая глупость, - почти столь же глупая, как глупа была бы воля, пожелавшая уничтожить дурную погоду, - из-за сострадания, например, к бедным людям... В великой экономии целого ужасы реальности (в аффектах, желаниях, в воле к власти) в неизмеримой степени более необходимы, чем эта форма маленького счастья, так называемая доброта; надо быть очень снисходительным, чтобы последней - ибо она обусловлена инстинктом лживости - уделять вообще место. У меня будет серьёзный повод доказать чрезмерно зловещие последствия оптимизма, этого исчадия *homines optimi*, для всей истории. Заратустра был первый, кто понял, что оптимист есть такой же *decadent*, как и пессимист, и, пожалуй, ещё более вредный; он говорит: "Добрые люди никогда не говорят правды. Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые всё извратили и исказили до самого основания". К счастью, мир не построен на таких инстинктах, чтобы только добродушное, стадное животное находило в нём своё узкое счастье; требовать, чтобы всякий "добрый человек", всякое стадное животное было голубоглазо, доброжелательно, "прекраснодушно", или, как этого желает господин Герберт Спенсер, альтруистично, значило бы отнять у существования его великий характер, значило бы кастрировать человечество и низвести его к жалкой китайщине. - И это пытались сделать!.. Именно это называлось моралью... В этом смысле именует Заратустра добрых то "последними людьми", то "началом конца"; прежде всего он понимает их как самый вредный род людей, ибо они отстаивают своё существование за счёт

истины, равно как и за счёт будущего.

Ибо добрые - не могут созидать: они всегда начало конца -

- они распинают того, кто пишет новые ценности на новых скрижалях, они приносят себе в жертву будущее - они распинают всё человеческое будущее!

Добрые - были всегда началом конца...

И какой бы вред ни нанесли клеветники на мир, - вред добрых самый вредный вред.

5

Заратустра, первый психолог добрых, есть - следовательно - друг злых.

Когда упадочный род людей восходит на ступень наивысшего рода, то это может произойти только за счёт противоположного им рода, рода сильных и уверенных в жизни людей. Когда стадное животное сияет в блеске самой чистой добродетели, тогда исключительный человек должен быть оценкою низведён на ступень злого. Когда лживость во что бы то ни стало овладевает для своей оптики словом "истина", тогда всё действительно правдивое должно носить самые дурные имена. Заратустра не оставляет здесь никаких сомнений; он говорит: познание добрых, "лучших" было именно тем, что внушило ему ужас перед человеком; из этого отвращения выросли у него крылья, чтобы "улететь в далёкое будущее", - он не скрывает, что его тип человека есть сравнительно сверхчеловеческий тип, сверхчеловечен он именно в отношении добрых, добрые и праведные назвали бы его сверхчеловека дьяволом...

Вы, высшие люди, каких встречал мой взор! в том сомнение моё в вас и тайный смех мой: я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека - дьяволом!

Так чужда ваша душа всего великого, что вам сверхчеловек был бы страшен в своей доброте...

Из этого места, а не из какого другого следует исходить, чтобы понять, чего хочет Заратустра: тот род людей, который он конципирует, конципирует реальность, как она есть: он достаточно силен для этого - он не отчуждён, не отдалён от неё, он и есть сама реальность, он носит в себе всё, что есть в ней страшного и загадочного, только при этом условии в человеке может быть величие...

6

- Но ещё и в другом смысле я избрал для себя слово имморалист, как мой отличительный знак, как мой почётный знак; я горд тем, что у меня есть это слово, выделяющее меня из всего человечества. Никто ещё не чувствовал христианскую мораль ниже себя; для этого нужна была высота, взгляд в даль, до сих пор ещё совершенно неслыханная психологическая глубина и бездонная пропасть. Христианская мораль была до сих пор Цирцеей всех мыслителей - они были у неё в услужении. - Кто до меня спускался в пещеры, откуда несётся кверху ядовитое дыхание от этого рода идеала - клеветы на мир? Кто хотя бы только осмеливался предчувствовать, что это пещеры? Кто вообще до меня был среди философов психологом, а не его противоположностью, "мошенником более высокого порядка", "идеалистом"? До меня ещё не было никакой психологии. - Здесь быть первым может оказаться проклятием, во всяком случае это рок: ибо и презираешь, как первый... Отвращение к человеку есть моя опасность...

7

Поняли ли меня? - Что меня отделяет, что отстраняет меня от всего остального человечества, так это то, что я открыл сущность христианской морали. Поэтому я нуждался в слове, которое имело бы значение вызова всем. Что здесь не раскрыли глаз раньше, я считаю это величайшей нечистоплотностью, какая только имеется у человечества на совести, самообманом, обращённым в инстинкт, принципиальной волей не видеть ничего происходящего, никакой причинности, никакой действительности, фабрикацией фальшивых монет in psychologicis, доведённой до преступления. Слепота перед христианством есть преступление *per excellence* - преступление против жизни... Тысячелетия, народы, первые и последние, философы и старые бабы - за исключением пяти-шести моментов истории и меня, как седьмого, - все стоят друг друга в этом отношении. Христианин был до сих пор "моральным существом", *curiosum* вне сравнения, а как "моральное существо" был более абсурдным, более лживым, более тщеславным, более легкомысленным и более вредным самому себе, чем это могло бы присниться даже величайшему из презирающих человечество. Христианская мораль - самая злостная форма воли к лжи, истинная Цирцея человечества: то, что его испортило. Не заблуждение как заблуждение возмущает меня в этом зрелище, - не тысячелетнее отсутствие "доброй воли", дисциплины, приличия, мужества в духовном отношении, которое обнаруживается в его победе: меня возмущает отсутствие естественности, тот совершенно невероятный факт, что сама противоестественность получила, как мораль, самые высокие почести, осталась висеть над человечеством как закон, как категорический императив!.. В такой мере ошибаться, не как отдельный человек, не как народ, но как человечество!.. Учили презирать самопервейшие инстинкты жизни; выдумали "душу", "дух", чтобы посрамить тело; в условиях жизни, в половой любви, учили переживать нечто нечистое; в глубочайшей необходимости для развития, в суровом эгоизме (- уже одно это слово было хулою! -), искали злого начала; и напротив, в типичном признаке упадка, в сопротивлении инстинкту, в "бескорыстии", в утрате равновесия, в "обезличивании" и "любви к ближнему" (- одержимости ближним!) видели высочайшую ценность, что говорю я! - ценность как таковую!.. Как! значит, само человечество в *decadence*? и было ли оно в нём всегда? - Что твёрдо установлено, так это только то, что его учили лишь ценностям декаданса, как высшим ценностям. Мораль самоотречения есть мораль упадка *per excellence*, факт "я погибаю" перемещён здесь в императив: "вы все должны погибнуть" - и не только в императив!.. Эта единственная мораль, которой до сих пор учили, мораль самоотречения, изобличает волю к концу, она отрицает жизнь в глубочайших основаниях. - Здесь остаётся открытой возможность, что не человечество в упадке, а только паразитический класс людей, священников, которые благодаря морали долгались до звания определителей его ценностей, которые угадали в христианской морали своё средство к власти... И на самом деле, моё мнение таково: учителя, вожди человечества, все теологи были вместе с тем и *decadents*: отсюда переоценка всех ценностей в нечто враждебное жизни, отсюда мораль... Определение морали: мораль - это идиосинкразия *decadents*, с задней мыслью отомстить жизни - и с успехом. Я придаю ценность этому определению.

Поняли ли меня? - Я не сказал здесь ни одного слова, которого я не сказал бы уже пятью годами раньше устами Заратустры. - Открытие христианской морали есть событие, которому нет равного, действительная катастрофа. Кто её

разъясняет, тот forse majeure, рок, - он разбивает историю человечества на две части. Живут до него, живут после него... Молния истины поразила здесь именно то, что до сих пор стояло выше всего; кто понимает, что здесь уничтожено, пусть посмотрит, есть ли у него вообще ещё что-нибудь в руках. Всё, что до сих пор называлось "истиной", признано самой вредной, самой коварной, самой подземной формой лжи; святой предлог "улучшить" человечество признан хитростью, рассчитанной на то, чтобы высосать самое жизнь, сделать её малокровной. Мораль как вампиризм... Кто открыл мораль, открыл тем самым негодность всех ценностей, в которые верят или верили; он уже не видит ничего достойного почитания в наиболее почитаемых, даже объявленных святыми типах человека, он видит в них самый роковой вид уродов, ибо они очаровывали... Понятие "Бог" выдуманно как противоположность понятию жизни - в нём всё вредное, отравляющее, клеветническое, вся смертельная вражда к жизни сведены в ужасающее единство! Понятие "по ту сторону", "истинный мир" выдуманы, чтобы обесценить единственный мир, который существует, чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности? Понятия "душа", "дух", в конце концов даже "бессмертная душа" выдуманы, чтобы презирать тело, чтобы сделать его больным - "святым", чтобы всему, что в жизни заслуживает серьёзного отношения, вопросам питания, жилища, духовной диеты, ухода за больными, чистоплотности, климата, противопоставить ужасное легкомыслие! Вместо здоровья "спасение души" - другими словами, folie circulaire, начиная с судорог покаяния до истерии искупления! Понятие "греха" выдуманно вместе с принадлежащим сюда орудием пытки, понятием "свободной воли", чтобы спутать инстинкт, чтобы недоверие к инстинктам сделать второю натурой! В понятии человека "бескорыстного", "самоотрекающегося" истинный признак decadence, податливость всему вредному, неумение найти свою пользу, саморазрушение обращены вообще в признак ценности, в "долг", "святость", "божественность" в человеке! Наконец - и это самое ужасное - в понятие доброго человека включено всё слабое, больное, неудачное, страдающее из-за самого себя, всё, что должно погибнуть, - нарушен закон отбора, сделан идеал из противоречия человеку гордому и удачному, утверждающему, уверенному в будущем и обеспечивающему это будущее - он называется отныне злым... И всему этому верили как морали! - Ecrasez l'infame!

9

- Поняли ли меня? - Дионис против Распятого...

КОНЕЦ